

Надеюсь, никто не станет кричать, что Санкт-Клудс — подделка Гренландская. Хотя, и журналист, и Светлой Клав, несомненно, похоже, и никто не знает, на кого эти оба реально работают: в редакции задается вступить с ними в личную переписку, и тут, и другой куче всего привалится в режиме реального времени.



ЮЛЯ ПАНЬКОВА **ВОЙНА НЕ**
МИР * Москва

2007

Литературный
Журналистский проза

В дилемме променяет Единый Контрактный Облад Лордла. Каким образом? Откуда злая у сердца проза идет, быстр, изобретено и без конца, как и более обманчиво выдумано. И так же дилемматично даже пойдешь и рай... Случай, не так индийский неосложнен? В ярости или. Вот размышления...

Юля Панькова

Война не Мир

«Автор»

Панькова Ю.

Война не Мир / Ю. Панькова — «Автор»,

220 страниц жесткого мира по ту сторону СМИ. Беспрецедентные интервью из осажденного города. Гражданская война на краю советской империи. Как выжить в казарме творческой личности. Кто придумал электросекс, и что такое Интуитивный Образ Порядка... Анти-роман «Война не Мир» реалистичен без претензии на доверие, как, впрочем, все, что может выйти из-под руки журналиста. Противоположности притягивают друг друга, но нам всегда приходится выбирать что-то одно. Нельзя быть бесстрашным, не узнав настоящий страх. В иллюзии невозможно увидеть обман, не взглянув на реальность.

© Панькова Ю.

© Автор

Содержание

Часть 1	6
I	6
II	21
III	24
IV	32
V	42
Конец ознакомительного фрагмента.	44

Юля Панькова

Война не Мир

Анти-роман

Часть 1

I

Чтобы вывести из помещения крыс, берут железную бочку. В нее сажают с десятков грызунов. Кормить их не нужно. Через неделю в бочке остается последняя крыса. Еще через день проголодавшегося убийцу отпускают к сородичам.

На блатном цветном телевизоре моей тетки стоял сушеный варан. Он стоял на лакированном ящике в атакующей позе и злобно смотрел на каждого, кто смотрел телевизор. Рот чучела был распахнут, и небо аккуратно заделано красной материей. Моя тетка привезла этот сушеный сувенир из Алжира, где прожила 10 лет. Когда она вернулась в Россию, я уже ходила в начальные классы. Алая пасть варана под звуки вечерней программы «Время» — таковы мои первые впечатления о глобальном слиянии культур. У нас дома не было телевизора.

Я училась в обычной школе, где могла бы узнавать о текущей политической ситуации в мире. Но как-то так повелось, что я пропускала политинформацию — специальные уроки, где дети вслух читали вырезки из газет и осуждали военную агрессию гниющего запада. Я опаздывала на эти уроки. Так что, мировые разногласия оставались для меня чем-то глубоко историческим, далеким, как эпоха портянок и гимнастерок. Но однажды из нашего класса отобрали несколько учеников и стали готовить их на случай воздушной атаки. Это была середина 80-х.

По некому плану учебной тревоги отобранных для военных учений учеников снимали прямо с уроков. Нас собирали учителя. У них были тревожные лица. Нас вели в школьный подвал и там раздавали боевые задания. На картонках с заданиями были начерчены схемы школьных этажей и точками помечены виртуальные возгорания и разрушения. Учеников делили на группы, раздавали картонки и разводили по этажам. По сигналу мы разбежались по школе и до звонка перемены отрабатывали разные способы эвакуации ученического состава в подвал (ака бомбоубежище). К моменту предполагаемой воздушной атаки мы должны были освоить миссию школьных спасателей. Никто не говорил, когда будет атака и кто конкретно на нас нападет. Но именно в те дни сурового ожидания мне впервые пришло в голову, что мир, должно быть, безумен, независимо от того, какая его половина в данный момент права. При звуковом сочетании «Брежнев-Рейган» мое сердце до сих пор загадочно замирает.

Сегодня четверг, я беру диктофон. По четвергам я хожу в студию к популярному художнику и записываю его мемуары — о звездах, галереях, академии им. Сурикова и просто за жизнь.

Студия, где сидит мой художник, расположена между цирком на Цветном Бульваре и Сретенским монастырем. Я могла бы указать более точные координаты. Скажем — у роскошного киоска с модифицированным виноградом и персиками размером с бройлерных кур. Или «последний вагон из центра, из стеклянных дверей направо. Как дойдешь до банка, отдай честь. В переулке увидишь „Корвет“. Набери, я тебя встречу». Любую точку земного шара можно рассматривать со множества колоколен.

Я еду к «Корвету».

Метро последнее время исчеркано и выглядит, как в кино. Так и должно быть, наверное, иначе, как бы общественный транспорт отличался от персонального. Одна моя подруга (или как называть человека, с которым ты схавал пуд тонера и на протяжении нескольких лет ходил в один туалет?), так вот, одна моя подруга успела купить свою первую машину еще до просмотра пошлин на иномарки. Перед пенсией ее родители несколько лет работали на Француз-

ской дипломатической миссии. Тогда они и подкинули моей подруге списанный посольский автомобиль. Внутри, на всех дверках автомобиля было что-то написано — значительное и важное. Я не читаю по-французски, а подруга не колется. Загадочные надписи завораживали меня каждый раз, как я попадала в это авто. С пассажирского кресла я обычно разглядываю виды в окне. Но, путешествуя по городу в расписном посольском автомобиле, я не отрывала взгляда от дверок. Мне даже казалось, что надписи в салоне все время менялись, словно мятежный дух бывшего хозяина машины являлся из-за границы и черкал на кожаной обивке канцелярской замазкой, пытаясь что-то нам сообщить иноземным почерком.

Иногда мне верилось, что едва я узнаю, в чем смысл этих надписей, как жизнь наладится, ситуация в мире придет в равновесие, и ни одно яблоко больше не отравит раздором змий. Хотя, собственно, последнюю проблему мы решили успешно. Современные яблоки не червивы.

В каких-то смыслах цивилизация полезная вещь. Во всяком случае, я люблю ее знаки. След, оставленный человеком в окружающем мире, почти так же красив, как груда камней на дороге после того, как с горы сошел сель. Особенно след человека хорош, когда наследивший уже свалил, а результат его действий успело упорядочить время. Расковырянный паз от шурупа в вагоне — это прекрасно. Ковыряя, хомо пытался что-то сказать. Время нанесло на его сообщение благородную патину, приняв человечесье рукоделие как дар. Какого ж фи́га я буду нудеть: вот, загадили все метро? Мне столько раз говорили, что то, что проверено временем, — качественно.

Про старый проверенный способ вывести крыс мне рассказал популярный художник, к которому я езжу по четвергам, чтобы записать его мемуары. Мне нравится эта работа. Воспоминания художника похожи на голливудский фильм. Тот, кто раньше был неудачником, победит, преграды разрушатся и белые титры побегут по черному фону под музыку глобального счастья. Это мой любимый сценарий. Герой похож на тебя и меня, но на деле он истинный чучельник.

ЧУЧЕЛЬНИК — я не знаю, кто выдумал это слово. Первый раз я услышала его от моего приятеля Димы, за ужином.

Ужин был поздним. Мы с Димой сидели на высоте 10 метров, на теплой и скользкой жести — на крыле памятника космонавтике, что на проспекте Мира. Мы пили чай с пончиками. Черт его знает, зачем нас туда понесло, но было приятно оторваться от земли и не чувствовать себя в ресторане. Мы болтали, под гул вечернего трафика булькал наш чай и шуршал пакет с пончиками. Слово **ЧУЧЕЛЬНИК** слетело в ночь и воспарило над эстакадой.

Дима — один из моих старых приятелей. В отличие от других, активных и цельных личностей, описать его родом занятий нельзя. Он не занимается, он живет. Последний раз он звонил мне из Киева. Там он следил за событиями и помогал поднимать знамя рыжих. Потом он затерялся в Крыму или уехал в Грузию. Кого он там поддерживал я точно не знаю. То ли друзей, то ли друзей друзей, то ли их географических братьев.

В любой момент истории Дима дружит. Он есть в телефонных книгах депутатов, докторов, наркоманов, рокеров, скинхэдов, футболистов, дальнобойщиков, дочерей олигархов, сыновей проституток и других представителей современности. У Димы нет телефонной книжки.

Мне кажется, мы познакомились на осаде белого дома. Но это не важно.

Когда Дима сказал **ЧУЧЕЛЬНИК**, я почему-то сразу поняла, о чем речь. Бывает так, что чужой вокабуляр оказывается как бы из одного с тобой информационного поля. Ты слышишь слово и просто понимаешь его значение. Есть, правда, опасность, что тебе только кажется, что ты понимаешь, но это, как и многие вещи, проверяется временем. Как говорил поэт Владимир

Высоцкий в известной постановке по мотивам Алисы в Стране Чудес: «Не произноси слова только за то, что они красивые и длинные». Я стараюсь.

Чучельник — это просто тот, кто никуда не вписался.

Причины, почему нормальный человек остается за порогами общества, могут быть разными. Возможно, этот человек нелепо рассеян или крайне занят собой. Может быть, он не соблюдал условных традиций или оказался загружен психическими проблемами.

Чучельник — это тот, кто не вписался по особым причинам. Он родился такой же, как ты и я, и никогда не старался быть белой вороной. Кто тут пытался отличиться, так это все остальные.

Если наша жизнь — действительно, поле, то чучельник — это тот, кто продолжает висеть на своем шесте, пока общество носится от межи до межи по воле актуальных тенденций. Там, откуда схлынуло общество, автоматически образуется новый чучельник. Он остался таким, как был. Это мы поменялись.

Я думаю, каждый из нас хоть однажды остался чучельником — ровно настолько, насколько еще не воспринял острых социальных тенденций. С чучельного шеста мир представляется причудливо искаженным. В силу своего положения над полем чучельник имеет иной доступ к внутренностям системы и может выпотрошить ей мозги. Правда, последнее случается так же редко, как рождение Джордано Бруно или Элвиса Пресли. Обычно чучельник просто слегка одинокий и чего-то глобально не понимающий человек.

Однажды, давно, мне заказали статью про зоофилов. В очередной раз я была без работы, и нужно было хоть что-то писать, чтобы завтра купить еды. Накрапывал дождь, я тупо читала журналистское сообщество «Папарацци» и думала о том, что в запасе у меня нет ни одного скандала.

Почти у всех, кто писал в сообщество, был скандал. У меня не было. Плюс ко всему, мне не требовалось срочно узнать у коллег мобильный номер Димы Билана, чтобы взять интервью (мобильный Билана у меня был). Газета «КП» не поручала мне свистать народ на политические дебаты. Журнал «Гламур» не просил разместить объявление о забеге блондинок на шпильках. Проще говоря, мне нечего было сказать в сообществе «Папарацци». Возможно, не только в нем.

Оставив Папарацци в покое, я поползла по сети искать своих зоофилов.

Заказ на узконаправленный секс мне дали в отвязном молодежном журнале, который позиционировал себя на редкость крутым. Появление журнала на рынке я пропустила. Это как со скандалами — наверное, мне просто слабо переваривать горячие новости, скажем, у меня информационный дисбактериоз.

Еще в юности, на журфаке я пропускала свежие сплетни. Позже, в редакциях, мне пришлось научиться достоверно имитировать код здорового собеседника:

— Привет, Лопухова, ну и как тебе?.. Уже в курсе?

— А, ты об этом? Да кошмар, полный абзац!!!..

На самом деле я почти никогда не знала, о чем, собственно, речь.

Всемирные события интересовали меня больше, чем местные, но тоже несколько де-факто. Новость о падении башен-близнецов, например, дошла до меня, как до крайнего в очереди. Но о той новостной задержке я как раз не жалею.

В одном из офисов твин-тауэрз остался мой бойфренд. Скорее всего, последнее, что он видел, был какой-нибудь взорвавшийся ксерокс. Хотя, мне приятней думать, что напоследок он любовался вспыхнувшим сейфом и зелеными купюрами, взлетевшими в воздух как птицы...

Сообщества зоофилов в Интернете не оказалось (а кого им ловить в виртуальной среде?). Но журнал, который заказал материал, настаивал на личном опыте.

— Все авторы, с которыми мы работаем, пишут не с потолка, — презрительно и жадно глядясь в мой вырез, пояснял главный редактор, парень лет 20-ти, — если ты пишешь о сноуборде, ты должен уметь кататься с горы. Если собираешь материал о тантрическом сексе, то идешь и пробуешь на себе. Мы специально доставали нашему репортеру пропуск в закрытый клуб.

Ожидая, что я забьюсь в истерику от восторга, главный редактор недоуменно пнул мусорную корзину, потому что я просто смотрела в окно. На улице было уже темно, и кружили большие белые хлопья, как растопыренные ладони, они прилипали к стеклу.

— Моя тетя преподает эту пургу, — безрадостно объяснила я, — но сама занимается сексом по-русски.

О тантрическом интиме тогда не писал только журнал «Колобок». Чтобы попробовать на себе, не нужно было тащиться в закрытый клуб.

Главный редактор сел. Как я помню, его звали Петя. По крайней мере, на вид он точно был Петя. Шагая под зимним дождем в редакцию отвязного молодежного журнала (в метро я изучила их свежий номер), я ожидала увидеть что-то такое, отвязное. Например, недонюханные дорожки на распечатанных текстах или штатных гениев, играющих в регби надувным фаллосом. Главного редактора я представляла на телефоне с Мадонной — они обсуждали преимущества кальяна перед вело-прогулками. В углу, как мне казалось, должен был сидеть тибетский монах, общаясь с душой загипнотизированной секретарши. По крайней мере, я привыкла, что если издание пишет о моде, в редакции обязательно будет свалка коллекций.

Все оказалось не так. Во-первых, секретаршей был мальчик. Он сидел в отдельной стеклянной ресепшн, и мягкие очертания его округлой спины тонули в перспективе длинного темного коридора, уходившего в закрытую дверь. Во-вторых, в помещении стояла такая тишина и порядок, что невольно приходила мысль о евро-клинике в Аптекарском огороде. Главный редактор Петя оказался юношей со злым лицом и животом, выпиравшим под клетчатой жилеткой. Шею юноши стягивал пыточный воротничок, а кисти рук были наполовину скрыты манжетами.

Я знаю, как ведут себя девственники. Петя был девственник. Но он был девственник перед показом «Глубокой глотки». Его тошнило. Чуть больше жизни и, казалось, Петю начнет полоскать свежими вишнями. Должно быть, поэтому в редакции, где он был главнюком, не водилось ни запахов, ни звуков. Странно, что окно не занавесили черными тряпками. Впрочем, оно выходило на глухую серую стену.

— Итак, — Петя ожесточенно повозил мышкой по коврику, куда-то нажал и вынул из принтера пачку листов, — вот правила к нашим текстам. Их обязан соблюдать каждый автор. Мы платим 5 долларов за килобайт. Пожалуйста, оставляйте поля!

В метро я изучила врученные мне листы. Про поля там было сказано шесть раз. Журнал был, действительно, крут. Круче только красная пасть варана.

Петя ничего не сказал об объеме статьи и, выходя из метро, я произвольно решила, что напишу из расчета пять долларов зоофил, плюс репортерские комментарии. Итого, через месяц, ко дню выдачи гонорара в моем кармане должно было прибавиться, по беглым прикидкам, 25 грин. Очевидно, в них же входил личный опыт. Какое счастье.

Странно, но меня ни разу не увольняли с работы, не вынуждали уволиться и не вытесняли. Но уже на втором году моей журналистской карьеры стало понятно, что я просто ходячий телеканал ТВ-6. Настоятель буддистского дацана, куда меня затащили друзья, чтобы очистить карму, сказал, что карма тут ни при чем. Некоторых людей, сказал настоятель, просто притягивает разруха и запустение. В моем случае — о-пустение. На первый взгляд казалось, что издания мрут, как мухи, не успею я там окопаться и обложиться словарями, телефонами, диктофонами и образцами эксклюзивной продукции для заказухи. Но потом становилось ясно,

что я всего лишь пришла в неподходящий момент, и, как обычно, с моей способностью видеть новости, разобралась в ситуации слишком поздно.

Зоофилы не находились. Редкие сайты, выплывавшие по запросу, выдавали «Извините, страницы больше не существует». В лучшем случае, ссылки отправляли в медицинскую энциклопедию, в худшем — на порнорассказы трехлетней давности. Я почти было решила, что за зоофилию снова ввели статью. Расстрел. 25-ти баксов не будет.

Сотрудникам милиции мне звонить не хотелось. Про то, что от контактов с животными люди попадают по скорой помощи с разрывами половых полостей, я еще не узнала. Со скуки я взяла телефон и набрала Диму, друга депутатов, звезд, наркоманов... Я набрала его номер без особой надежды. Впрочем, и рвения. Я уже начиталась выразительной прозы о домашних питомцах — Джеках и Принцах. Набивать голову этой инфой мне стало невмоготу. Тем более, примерять на себя, чтобы потом за четвертак продать в молодежный журнал «непредвзятые, достоверные сведения». Абстрагироваться, в принципе, можно от чего угодно, даже от того, что ты когда-нибудь дообстрадаешься. Но, представив, с какой жадностью достоверные сведения будет читать девственник Петя, я поняла, что он заразил меня тошнотным синдромом. Хотелось на свежий воздух.

— Зоофила? — радостно спросил меня Дима, ответив на мой звонок, — ну, найдем тебе зоофила!

Я думаю, приспичь кому-нибудь взять интервью у зеленого человечка, Дима подогнал бы на МКАД парочку НЛО с надписями «Марс» на бортах.

Он припер мне не одного, а целых 5 зоофилов. Как я и мечтала.

Если крутой журнал говорит, что тебе нужно знать, о чем пишешь, тебе нужно знать. «Авторы у них — небожители», — стараясь придать мысли необходимый оттенок уважения, думала я. Все статьи у них очень значительны. Обо всем есть свое мнение, очень крутое. У меня так все равно не получится. Мои мысли о мире чаще всего не канают, это много раз проверено опытом, но я буду стараться. Я уже забыла, что в Петинной редакции все было не так, как нужно, а если и помнила, то это только подтверждало мою идею о небожителях.

Люди вообще — боги. Они знают очень много вещей, о которых ты не имеешь понятия. Однажды в конце рабочего дня, например, 10 небожителей столпились вокруг макинтоша нашего бильдиредатора (человека, который ищет картинки). Лица небожителей, которые столпились вокруг макинтоша, стали бледны в отблесках монитора, а с божественных уст посыпалось: «Вот уроды! Смотри, смотри! Ааафигеть!». Я наблюдала за ними и думала: «Надо же! Они говорят о чем-то таком, чего я никогда не пойму! Может, быть, о футболе?..».

Восхитившись каждым по-очереди (итого 10 раз), я осталась сидеть за своим макинтошем, набивая какой-то жалкий текст про любовь — письмо моему бойфренду. Я пила кофе, мне было спокойно. Стояла теплая осень. Через пару часов уже весь издательский дом знал, что в международный торговый центр врезались самолеты. По компьютеру бильда небожители как раз наблюдали тот знаменитый первый взрыв, который кто-то выкинул в интернет.

Когда до меня дошло, что случилось, я допила свой кофе и просто не стала отправлять письмо моему бойфренду. Ни один чертов компьютер в башне его не получит. Но все-таки здорово, что я дописала. Эта мысль как-то греет меня...

Зоофилы пришли в полночь.

Они собрались все сразу, ввалившись в прихожую хаты, где мы договорились пересечься на вечеринке у пары геев, дизайнеров, чтобы разбавить обстановку интервью непринужденностью. Несмотря на внешне пристойный повод, каждый заметно парился. Один зоофил был звездой русского рока. Остальные занимали социальные должности поскромнее: директор, менеджер, мой коллега и танцовщица. Открытый доклад по теме был только у рок-звезды, прочие стеснялись своих увлечений. Предполагалось, что с каждым я побеседую потом, тет-а-тет. На крайняк, возьму визитки, чтобы в ближайшее время созвониться.

В квартире, где мы встретились, было два этажа. Немного потолкавшись и набрав на тарелки еды, мы расселись внизу в белых креслах, как на ладонях. Кроме Димы, меня и самих зоофилов никто не знал, что они зоофилы. Но новость постепенно распространилась, и внизу, в зале с белыми креслами, собрались почти все. Геи-дизайнеры спустили стол с едой и бутылками. Мы с Димой хлестали кофе. Мы его глушили. Растворимый, с молоком, по-венски, из черной кофеварки и прозрачного кофе-пресса — Дима всегда берет на себя половину твоей работы. Диктофон я не доставала из деликатности. Приходилось писать на память. Мы с Димой работали, остальные, я надеюсь, хотя бы слегка развлеклись. Всего за час монолога рок-звезды о принципах зоофилии гости надрались в дерьмо.

Но за следующий час они протрезвели. Рок-звезда как раз рассказывал о голубях, кенарах и попугаях. Циклам опьянения и трезвения оказался не подвержен всего один гость. Возможно, ему было трудно удержать нить разговора. Он спустился вниз уже, кажется, суточно пьян. Пока рок-звезда рассказывал, как на бездники друзья дарили ему пушистых щенков, пьяный гость сидел, привалившись к стене и, как кошка, смотрел в никуда. На попугаях он без сил упал за кадушку с пальмой. Утром я видела, как он тихо плачет.

Я думала — о чем мне писать? О том, как звери склоняют тинейджеров к дружбе? Или о матери маленького зоофила, которую однажды на новый год прямо на кухне насмерть запрыгали ножами любовники? О сиротах, поющих в цыганском таборе? Или о русском роке? Это был обширный доклад.

— О чем ты плачешь? — спросила я утром того парня.

— Он такой клевый! — всхлипнул тот, — ты видела, какие у него белые ноги?

Надо написать о белых ногах, догадалась я. И написала обо всем сразу. Если бы статью удалось продать, получилось бы много баксов.

В ночь после зоофила я не смогла уснуть. Мне снились кошмары. Голос у рок-звезды был могучий. Он выходил из маленького тела, как молния из сморщенной тучи. К третьему алкогольному циклу громогласный шоу-мен метался между диванами, разгоняя сам себя до истерики. Вместо одежды, в которой он пришел на вечеринку, на нем был черный шелковый халат одного из дизайнеров. Что обозначало переодевание, я не помню. Наверное, рок-звезде мерещился концерт в Лужниках. Ноги у него, действительно, были белые. В купе с черным халатом походило на фильм Чарли Чаплина. Интересно, что явно ощущая себя на сцене, рок-звезда так и не спел, только иногда переходил на мелодичный шепот. Очевидно, дело было в том, что его пение слушали много лет, а рассказывать о том, как дохли питомцы, ему не доводилось ни разу.

Когда он был маленьким мальчиком, никто не учил его ухаживать за животными. А он их любил. В маленьком теле, наверное, было столько же много любви, сколько голоса. Из скромности его возлюбленные животные сначала брыкались, но потом привыкали, если не успевали скопытиться. Только став взрослым, рок-звезда понял, как был не прав. Он сказал, что зверей, по уму, нужно было приручать постепенно. Остальные зоофилы на это согласно кивнули. Но спешащая юность тратила силы. Любимцев было много, один за другим. Рок и зайцы. Умирая, они предавали его, не любили.

В пятом часу утра разговор шел начистоту. После попугаев и голубей уже никто не стеснялся любви к парнокопытным. Мы глушили кофе. Танцовщица рассказала, что на самом деле значит мода на маленьких песиков, и как приручить крошечного любовника на сметану. Мне казалось, что в носу у меня стоит запах фермы. Манагер рассказал, что с теленком лучше, чем со свиньей, особенно, если есть табуреточка. Телка вообще идеальное существо — температура, форма, размер... Ладонями я почти ощутила сено и ворсистую морду. Я поняла, что совсем не знаю природу.

Мой коллега, журналист, говорил о том, что на Кавказе существует обычай посвящать юношу в мужчины путем прилюдного секса с ослицей. А чабаны, уходя далеко от селений со

своими стадами, даже не вспоминают про женщин. На зоне есть развлечение — обрывать мухе крылышки и сажать на торчащий из воды член. А что до сайтов, то их давно погрохал грин пис. Я вспомнила, что в детстве у меня тоже был пудель. Его отловил наш дачный сосед, алкоголик. Говорят, что он съел моего друга в качестве средства от печени. Надеюсь, что так и было. Люди – небожители, они всегда умеют что-то такое, чего ты не поймешь никогда.

Статья вышла мрачной. Даже самый пошлый главный редактор в Москве (и области), прочитав ее, сказал: «Ужас». Но переделывать мне не хотелось. Заказчик Петя поставил под сомнение Кавказ и его обычаи. Он сказал, что не нашел такой информации в Интернете. А раз нельзя проверить в сети, сомнения вызывает и все остальное.

— Мы же просили, чтобы сведения были достоверными, из первых рук. И вообще, что это за пассаж про телок?

На интервью с доктором, которому приходилось лечить зоофилов, покалеченных сексом, в статье не хватило места. То есть Петя не все читал.

Вы хотели круто? Их есть у меня. Какое счастье...

Сегодня четверг. Я куплю на перекус шоколадку. И чипсов. И какой-нибудь пирожок. Я включу диктофон и буду слушать веселые мемуары художника. В прошлый раз он обещал рассказать мне, как рисовал фигуру Ленина в армии.

Я добираюсь до его мастерской по бульварам. Навстречу мне поднимается с асфальта разнеженный летний московский вечер. Я торможу у высокой двери, забираюсь на крыльцо особняка и жму знакомые цифры на домофоне. Я захожу в помещение и улыбаюсь — кондиционеру, витой лестнице и готовым к просмотру портретам, расставленным у стен в галерее. Я приехала вовремя. На лестнице меня встречает художник и, как обычно, пожимая его творческую ладонь, я готова к чему-то светлому и жизнеутверждающему. Мы идем в большой зал, и я сажусь на диван для клиентов.

Художник возвращается на свое рабочее место и начинает воспоминания о творчестве в армии с крыс.

Сидя на нежном кожаном диване в прохладной, но солнечной мастерской, я слушаю про железную бочку и визги грызунов, съедающих друг друга живьем. Я не верю. Я принимаю сегодняшнюю историю художника за дикую байку. Но не замечая моих сомнений, художник рассказывает, как однажды в части, где он служил, случилась осечка: в железной бочке, в которой готовили грызунов-убийц, через неделю осталась не одна, а две крысы. Оставшиеся особи почему-то не съели друг друга. Вместо этого они прожили вместе, сколько смогли, и просто умерли в один день.

— Ты не шутишь? — спрашиваю я, не в состоянии решить, можно такое выдумать или нет, и почему мемуары на этой неделе начинаются так необычно красочно.

Художник смотрит — я бы сказала «поверх мольберта», но он в этот вечер обводит на большом мониторе какие-то фотографии.

— Знаешь, — объясняет он мне, кивая на монитор, и пожимает плечами, — заказчица сказала, что я перестал стараться. Типа люди на портретах выходят не настоящие... Я долго заглядывал в свой внутренний мир, а потом понял: какого хера? Возьму настоящих и обведу... Нет, про крыс кроме шуток, натуральная правда, можешь в интернете посмотреть... Кофе будешь?

Прежде чем согласиться на кофе, я успеваю подумать о том, что этому художнику давно не надо доказывать, что он не верблюд, но каждому в жизни может попасться заказчик, который считает, что он умнее. Тогда профи берет фотографии и обводит настоящих людей.

Художник ждет моего ответа про кофе, и я торопливо киваю. Я никогда не отказываюсь от кофе. Я его все время хочу. С тех пор, как пять лет назад от верхушки твин-тауэрс ни осталось ни одного ксерокса, я, кажется, застряла во вкусе. Хотя, мне больше нравится запах.

Но заваривать чашку, чтобы нюхать и выливать добро в раковину, как-то не очень. Однажды я пробовала перейти как бы на нюхательный наркотик. Я завела себе небольшую коробочку, куда насыпала молотых зерен. Когда мне хотелось кофе, я подносила коробочку к носу и нюхала. Давным-давно я читала, что если выпивать больше двух чашек в день, климакс наступает на 10 лет раньше и обостряется целлюлит. Но оказалось, что мне по фигуре. Только от горячей воды кофейные зерна пахнут тем самым.

Художник приносит мне кофе.

(Примерно через полгода после того четверга я посмотрю про крыс в интернете. Согласно множеству найденных ссылок, крысиная экзекуция окажется довольно известной. В народе ее называют «крысоед» или «крысиный король». Основное преимущество казни — дешевизна, особенно, если нужно уничтожить большую колонию крыс).

Художник, не спеша, обводит увеличенный нос заказчицы на мониторе и рассказывает о том, как призывники после проводов в армию отправляются на срочную службу.

— Молодые солдаты, — говорит он, — напиваются в поезде и блюют.

Художник передвигает фотографию на мониторе и обводит ухо. Я понимаю, что рассказ о службе, начатый с крыс, уже никак не будет жизнеутверждающим и, глядя в большое бежевое ухо на экране компьютера, пытаюсь настроиться на волну.

— Блевать в поезде это плохо, — поучительно говорит мне художник и кладет ногу на ногу, — но ребята блюют не от того, что они хулиганы. Им просто страшно.

У художника приятный южно-русский акцент. Говоря о солдатах, которым страшно, он медленно ерошит волосы — как это делают персонажи Диснея перед тем, как сморозить что-то серьезное — например, про мужскую дружбу. Я слышала, что многие считают армию ключевым периодом в жизни мужчины.

— Что?

— Нет, я ничего не сказала, — я отрицательно трясую головой.

— Им страшно, — повторяет художник, качая ногой.

— Почему? — спрашиваю я и неуверенно затыкаюсь, хотя это не праздный вопрос.

Мое дело записывать, но о срочной службе я знаю только очень общие вещи — перловую кашу, таблетки от эрекции, альбом дембеля и дедовщину. Я могу только представить, из чего состоит страх солдата.

— Почему? — повторяю я и мне самой не понятно мое любопытство.

Художник смотрит на меня без эмоций. Я уже немного привыкла к тому, что у профи особый взгляд на натуру. Он не сравнивает, он смотрит. Обычный человек, ориентируясь в обстановке, сравнивает предметы — он сличает их с когнитивными моделями и готовыми культурными образцами и выносит свою оценку: ага, тупой журналист, не кондиция. Профи просто слышит вопрос «почему?». Он кивает и объясняет.

— Солдатам страшно, потому что они не знают, куда попадут.

Я мысленно пожимаю плечами, хотя обычно верю всему, что мне говорят в интервью.

Один мужской журнал как-то напечатал неплохую статью о страхе. В качестве примера в статье был описан эксперимент на мышах. Сначала в мышиную клетку кидали змею. Змея немного охотилась, и ее забирали. На следующий день в клетку мышам кидали веревку. Увидев простую веревку, мыши принимались визжать, истерить и в ужасе убиваться ап стены.

Таким образом, согласно очевидному, сначала нужно познать опасность, и только потом возникает страх, который заставляет реагировать неадекватно, например, кидаться на стены или блевать в поездах. Но, возможно, призывники более продвинутые существа, чем мыши. Вместо логичного хода эмоций, они испытывают страх неизвестности — то есть эмоцию, которой, как видно, не бывает в природе.

— К страху невозможно привыкнуть, — говорит художник.

Я согласно киваю и мимоходом думаю об эффекте веревки и его влиянии на восприятие актуальной реальности.

На самом деле, думаю я, призывники не могут не знать, куда попадут. Насколько я помню, дедовщина, суицид караульным оружием и прочие ужасы, породившие комитеты солдатских матерей, стали темой СМИ еще в конце 80-х годов, и уже тогда армейские кошмары не были новостью. В истории каждой страны, наверное, есть времена, когда гражданам сложно удивиться плохим новостям — зло привычно петляет между шеями и не затягивается только потому что кто-то должен присутствовать на политинформации...

Солнце за окном все сильнее сливается с геометрией крыш. Московский воздух от этого становится розовым, как в Париже. Сидя на нежном дивне, я думаю о том, что тоже кое-что знаю про страх.

Так вышло, что со второй половины 80-х я жила параллельно с Родиной. Мои родители к тому времени переехали из России, и мы поселились почти у границы с Афганистаном, в Мертвой Долине, как на местном среднеазиатском языке назывался наш город. Таким образом, катастрофы, террористы и застрелившиеся мальчики стали моей актуальной реальностью задолго до того, как новобранцы из рассказа художника могли прочитать об этом в газетах.

Рядом с городом, где мы жили, возвышался знаменитый Пик Коммунизма — самая высокая гора в зоне ру. Каждый видел ее на карте. Но не многие знают, что ближнее гористое зарубежье и по жизни было загадочным пиком, таким высоким, что он двоился в тумане, как две близнецовые башни. Политические и социальные парадоксы, свойственные родине, там зашкаливали за небеса, и уровень бытовых ощущений поднимался на баллы выше, чем необходимо белому человеку для полнокровной жизни. Наверное, поэтому в Мертвой Долине никто не блевал по таким пустякам, как страх: организмы белых крепчали. А может быть, никто не блевал, потому что в разряженном воздухе экстремального существования все веревки легко отличались от змей.

Я не сохранила своих впечатлений от первого землетрясения. Зато я помню, как мы удивились в 88-ом году, глядя первый репортаж о советском землетрясении по ТВ — из Степанакерта.

Толчки, за два года до этого разрушившие близкий к нам город Кайраккум, разбудили нас поздно ночью. Кайраккумская катастрофа была на два критичных балла сильнее Степанакерта. Эта трагедия занесена в список жесточайших землетрясений истории. Я тогда не была журналистом, и могу лишь догадываться, почему о Кайраккуме не сказал ни один телевизор. Тогда мы этого не обсуждали.

Мало кто в Мертвой Долине даже после Кайраккума выскакивал на улицу в ночных рубашках, но, когда начинало трясти, мы косились на косяки и думали, что в целях безопасности неплохо бы оторвать зад от стула и расположиться в дверном проеме. По конструкции сейсмо— домов дверные проемы — самое крепкое место. В нашей квартире над всеми проемами висели национальные сувениры — огромные тяжелые блюда с лепными узорами или часами внутри. Почему мы их не снимали, не знаю. Наверное, если страх все время с тобой, однажды ты просто не замечаешь, как принимаешь вызов или бросаешь свой.

Я не в курсе, воровали ли на строительстве наших сейсмо-домов цемент, заменяя его песком, как это было в Армении. Но у каждого в доме была своя почетная трещина. Люди, дружившие семьями, любили собираться друг у друга в гостях. Стены наших квартир скрепляли по всем углам железные скобы. Скобы были в каждой квартире, словно кресты на окнах блокадного Ленинграда. Грубо сваренные железки нельзя было заклеить обоями. Торчащие из них дюпеля рвали бумагу. Но никто не обращал на это внимания. Должно быть, если страх все время с тобой — это уже любовь.

Инструкций по эксплуатации землетрясений в экстремальной зоне не раздавали и не печатали. Хотя нечто подобное давно существовало в виде монографий и научных работ. В России были известные сейсмологи. Существовали карты сейсмического районирования. Однако, детей в школах опасных районов не тренировали на случай возможной трагедии.

Может быть, это не правильно, но в отличие от российской привычки, за разговорами на кухне в Мертвой Долине мы не боролись с несправедливостью и не обсуждали недочеты системы. Мы строили планы: что из имущества хватать, что оставить. Если пролямзишь что-нибудь нужное, подведешь товарища. Паспорт и ордер завалит обломками. Без кастрюль и спичек не сможешь пожарить. Почему-то никто не думал о том, что его расплющит. При штучном перечислении оказывалось, что для жизни после того, как расплющится все, необходимо слишком много вещей.

Строя планы, мы не болтали попусту. Землетрясения в 2 или 3 балла почти не оставляют на стенах следов. 4-5 баллов — это мелкие разрушения: падают вазы, картины и полки с книгами. 5.5 — повод собраться и лишний раз все хорошо обсудить. Собираясь, мы перечисляли ущербы и обменивались идеями. Когда дельные мысли кончались, мы развлекали друг друга историями. Должно быть, с тех пор травить байки я люблю больше, чем смотреть новости по ТВ.

Например такая история: одна заводская кассирша считала зарплату. И тут началось...

(Чтобы было понятней, о чем речь, — деньги в зарубежье были больше, чем капуста, бабос и лаве. Свободный нал был суровой необходимостью — запасным люком, альтернативной планетой с наличием кислорода в атмосферных слоях. Наверное поэтому деньги в Средней Азии любили легально. В планах спасения рублям отводилось особое место. Успешность местного жителя автоматически измерялась не маркой пиджака или баком машины, а пассивами в спальнях трусах. Представив себя у горы кирпичей, без зубной пасты и надежды на будущее, первым делом подсчитывали, хватит ли нала в пижаме на новую жизнь — дрова, еду и, главное, дорогу на родину.

В том, что касалось родины, в экстриме нашего существования был смешной парадокс. Трагедия — это плохо, все согласны. В то же время, каждая возможная катастрофа для каждого эмигранта была шансом рвануть на родину. Не многие застревали в Мертвой Долине по доброй воле.

«В Россию», — говорили мы, и это было почти священо. Никто не может любить родину сильнее эмигранта.

Люди с большой земли попадали в Среднюю Азию по разным причинам. Как правило, переселение было вынужденным. Но я не могу утверждать, что такой же была ностальгия. На родине в те времена были продовольственные талоны, а в зарубежье, если не считать катаклизмов, — райская жизнь.

Сложность парадигмы «родина — рай» заставляла нас плакать над нашей судьбой, и породила среди эмигрантов крылатую фразу: «Самолеты отсюда не летают». И это было метафорической правдой. Тот, кто приезжал в Мертвую Долину скрипя сердце, в расчете на то, что вернется домой через пару недель, застревал в раю почти навсегда — почти, потому что в один момент рай кончился (это типично длярая), как до этого для нас кончилась родина.

Эмигрантское общество, в которое ты попадал в Средней Азии, делилось на салаги и деды. Деды знали про самолеты. Салаги страдали. Им было трудно привыкнуть. Местные жители пахли местным кислым кефиром. На глазах у салаг они употребляли наркотик «нас». Нас — это зеленая пыль из трав, известки и птичьего помета (известь и помет изменяют кислотность среды для лучшего усвоения наркотика в кровь). Эту пыль кладут под язык. Сплевающая на асфальт вонючую жижу, местные не догоняли, почему эмигрантов тошнит. К чужому запаху, цвету и ритму трудно привыкнуть. Но зарплаты были большими. Квартиры... дайте две (и все в новый красивых домах). По три не брали, наверное, только потому, что это не

приходило в советские головы. Гламурный загар на нордическом теле появлялся в марте, клубника в магазинах — в апреле, остальные фрукты были всегда. Кем бы ты ни был, салага или дед — ты работал райсом (с местного — «босс»). Аборигены читали с трудом. На большую землю в отпуск, провести родню, ты ехал не как с золотых приисков, но тоже ништяк. Ты мог любить деньги, не вступать в комсомол и делать бизнес, какой тебе хочется — эмигранты относились друг другу щадяще, невзирая на должности, наверное, потому что нас было мало. После переезда новички ходили в салагах примерно 4 сезона — полный год. После этого, намекни салаге на то, что где-то люди живут по талонам, партийным билетам и без бассейна во дворе, он бы решил, что ты из Камбоджи или сектора Газа. Шаг за шагом сравнивая родину с раем, салага начинал сомневаться. И именно в этот момент самолеты для него переставали летать. Послушно срываясь в небо со взлетной полосы, миражившей горячим бетоном, воздушные лайнеры, идущие на Россию, застревали где-то в атмосфере. Они кружили над мертвой долиной ровно 24 дня официального отпуска и потом садились обратно. Ты ничего не мог с этим поделать. Глубокие слои твоей дермы уже пропитались натуральной фруктозой, и вчерашним салагам в отпуске снились сны — крученая дорога в горах, жара, маки и унылая песня Аллаху. Мы сходили с ума по родине, но всегда возвращались на свои небеса, в пыльный котлован в Памирских горах. Перед отпуском кто-нибудь говорил:

— Меня пригласили в Россию, райсом. Новая лаборатория, Новосибирск. От моей родины далековато, но лучше, чем здесь.

Вернувшись из отпуска в котлован, салага прятал глаза.

— Не срослось.

Скорее всего, так и было. Срастись в России уже не могло. Далеко от нее, от социально-алхимической родины, в жаре и горах для каждого сосредоточилась маленькая свобода. Отказаться от нее удавалось только по воле землетрясения, если тебе, конечно, хватит наличности на дорогу домой)...

Так вот, байка о заводской кассирше.

Кассирша сидела в кассе и считала заводскую зарплату. На нашем заводе работало около трех тысяч человек. Средняя зарплата по Средней Азии была раза в три больше, чем по России — примерно 250 рублей. Итого, кассирша раскладывала на пачки много денег. На столе перед ней лежали взъерошенные ряды купюр и монеты в жестяных коробках.

За зарешеченным окном на улице курили бухгалтерши. Кассирша насчитала уже до хрена. Машинок в то время не было, деньги считали пальцами.

— Семьтыщпятьсотпятьдесят три, семьтыщчетыре...

Неожиданно затрясло.

Бухгалтерши за окном завизжали на разные голоса, хотя на улице тряска не так заметна: на открытом пространстве меньше ориентиров, и толчки растекаются по земле. В помещении хуже. В бетонной коробке ты от А до Я чувствуешь, как крупно попал. Интерьеры смещаются с геометрически понятных позиций, родные стены странно трещат, и не за что уцепиться. Можно сесть в ожидании на пол. Говорят, неприятней этого только оказаться в разгул стихии в горах.

В кино землетрясение снимают почти похоже на жизнь: бутафорские камни валяются вниз, изображение начинает вибрировать. За кадром играет страшная музыка, и овалы испуганных лиц плывут не в такт с компьютерным задником. Вряд ли получилось бы то же самое, если снять землетрясение без прикрас, допустим, камерой слежения, какие обычно ставят на двери. Технически достоверная съемка трагедии, полагаю, возможна. Но кто бы стал смотреть этот подлинник жизни без хорошего монтажа и озвучки.

Я, например, помню одну салагу, которая переехала в Мертвую Долину в сезон дынь. Дыни — прекрасная компенсация за утрату родины. Салага ела их увлеченно, как Нуриев танцует балет. Но однажды за десертным столом она почувствовала, как ее немного покачи-

вает. Она стала оглядываться за кресло, решив, что за ее спиной балуются дети. Она крикнула: «Прекратите там!» и положила себе еще два ломтя. Когда ей сказали, что это землетрясение, и пора бросить ужин, она не поверила. Она сказала: «Вы меня дурите. Землетрясение бывает по-другому».

Так вот, кассирша. Эта храбрая женщина не была салагой, чтобы путать детские шалости с гневом господним, и точно знала, что следует делать, когда затрясет — хватать по плану самое ценное (лучше большими банкнотами) и валить туда, где никто не спросит, откуда ты это взял. Но едва ее тело почувствовало, что дело бензин, как пальцы, делившие зарплату завода, разжались. Кассирша отбросила от себя кучу халявных денег и, поскользываясь на купюрах и меди, побежала к выходу. Она не взяла ни монетки. Она вообще вспомнила про деньги и про то, что их нужно было хватать, только когда перестало трясти.

В связи с этим я думаю, что страх (как любовь) стоит делить на две существенных категории — настоящий (глубокий, большой и светлый) и поверхностный (типа иллюзорной влюбленности). Тем, кто не знал настоящего чувства, фиг объяснишь, каким оно должно быть на самом деле.

У нас не было пенсионеров, и с детьми не сидели бабушки. Но иногда старики приезжали в гости. За несколько часов до того, как от города Кайраккум ничего не осталось, одного гостевого деда увела в поле кошка. Разрушенный дом засыпает все вокруг на две трети своей высоты. То есть, если рядом с домом стоят еще две пятиэтажки, бежать тебе некуда. Дома специально строили на расстоянии, между ними оставляли огромные дворы. Кошка, которая спасла старика, разволновалась к обеду. К вечеру она скоростно сошла с ума — кидалась на дверь и орала. Дед не знал, чем ее успокоить, он крикнул внукам, что прогуляется, открыл дверь и побежал провожатым. На середине кукурузного поля, семена за кошкой, он вдруг ненароком вспомнил, что животные чувствуют приближение катастроф. А дети — нет. Нелепый гул в атмосфере затих. Характерный гул катастрофы затихает как раз в тот момент, когда хрен — насос. Компьютерный задник уже завибрировал. Дед не вернулся к домам. Он сел в посевы и вытирал слезы кошкой. Великое обрезание истиной сошло на него. До разрушения Кайраккума он не знал, что катаклизм приходит без Рахманинова за кадром. Увлечись иллюзией, бедняга не распознал большое и светлое чувство, когда еще можно было что-то спасти. О Кайраккумском землетрясении до сих пор не сказал ни один телевизор. Это было, так называемое, техногенное землетрясение, то есть, такое, которое возникло не по вине природы, а из-за случайного или сознательного вмешательства человека в естественную среду, например, по причине строительства ГЭС там, где есть риск вызвать колебания коры. Погибли три города и несколько кишлаков. Связи с пострадавшими не было несколько дней. Потом останки сровняли экскаваторами, не разбирая завалов. Наверное, так было дешевле. И безопасней...

Художник смотрит на меня почему-то печально.

Он молчит. Возможно, его отвлекли мои посторонние мысли.

Я тоже молчу.

Беседаю с людьми по работе, я редко пытаюсь повлиять на естественный ход монолога. К кому обычно идут журналисты? К людям, которым есть, о чем рассказать. Байки о том, что одни журналисты умеют раскручивать, а другие — нет, полное молотилово. Никого не надо раскручивать (разумеется, если у тебя на руках не торчок-маляр, который белил плитуса в криминально рухнувшем доме). На крайняк в случае осложнений на интервью у меня есть безотказное средство. Как только человек начинает выпендриваться, я собираю манатки и делаю вид, что сейчас уйду. На заре карьеры, беседаю с людьми, я пробовала демонстрировать знание темы и нападать на собеседников с бодрым вопросом: «А скажите, как вы...», скажем, дошли до такой жизни. Интервьюируемый тут же углублялся в себя и начинал сильно думать. Для хорошего долгого разговора это конец. В большинстве случаев, нужно искать кого-то другого.

Но с художником я спокойна. Хотя мемуары писать трудней, чем узконаправленное интервью, до грустной темы о солдатах мы нормально одолели несколько часов о нелегкой артистической жизни украинца в Москве.

Художник кидает в рот пол-эклера и, не прожевав, говорит:

— А первым делом у них забирают одежду.

Я поднимаю бровь. Я понимаю, что он имеет в виду свежий армейский призыв, но одежду, на мой взгляд, забирают только в тюрьме и родильном доме.

— Ну как, как? — объясняет художник, — вот человек слезает с поезда, приходит в часть, и первым делом у него забирают одежду. Вот я помню, приехал, на мне были нормальные джинсы, какие-то туфли. Все это отобрали, — пару секунд он вспоминает, как это было, — и взамен выдали что-то такое, не по размеру... Назад твою одежду не отдают. Насколько я понимаю, прапорщик, который сидит на раздаче, шмотки с новобранцев потом как-то... перерабатывает.

Художник вдруг начинает смеяться. Ему стало весело.

— Прапорщик в армии, — хихикает он, — это вообще очень серьезная такая фигура.

Поскольку я не знаю, кто такой прапорщик по официальному определению, то машинально хмурюсь. Художник подсказывает:

— Прапор — это младший офицерский чин. Звание прапора дают без обучения. Обычно, чтобы получить офицерское звание есть два пути. Первый путь — это нужно начать военную карьеру с солдата и дослужиться до офицера. Второй — пойти в училище и, минуя солдатский опыт, освоить офицерскую роль по книгам. Прапор — нечто среднее между ними. Прапор начинает карьеру с солдата, но...

Художник перебивает сам себя и спрашивает:

— Функция солдата тебе понятна? Задача солдата — умереть за Родину. Солдат приезжает и умирает. Взамен родина его как-то так кормит, не очень, потому что по дороге разворовали. Родина солдата одевает, если товарищи не...

Художник хитро улыбается и продолжает:

— Ну, армия выдает солдату положенную одежду, еду, но... то, что положено от государства проходит через несколько рук.

Я вдруг вспоминаю, что когда моей бабушке было 16, красная армия забрала у нее все юбки, кроме той, что была на ней.

Художник уточняет:

— Я не говорю, что мои джинсы сейчас носит какой-нибудь офицер, — он улыбается, очевидно, представив, как это может выглядеть, — то, что у тебя забирает начальство, ты даже не видишь. Скажем, к чаю тебе дали кусок сахара, и ты думаешь: обана, бонус! Ты же не знаешь, что по честному меню тебе положено два куса, и вместо того, чтобы грузиться обидой, грызешь и радуешься. Получается, что при подобном отъеме вещей, все остаются счастливы. Но! У начальства тут же возникает другая проблема. Когда солдат счастлив, до него трудно донести его солдатскую функцию. Отдать за родину сытую жизнь куда сложнее, чем мерзкую и голодную. С сахаром к чаю ты как-то не врубаешься, что твоя прямая задача — не гнушаться нелепой смерти. И вот, на помощь начальству в трудной воспитательной ситуации приходят твои товарищи — деды. В официальных случаях воспитывать солдата начальству помогают прапорщики. Когда-то прапорщики тоже были товарищами, но со временем они стали чем-то другим. Понимаешь? Прапорщика никто не учил чему-то особенному, но он прошел ситуацию «быть солдатом» и при этом не умер. Больше того, он, как бы мистически, без прямых указаний познав замысел хозяина, овладел навыком выживать в любой ситуации. Ну, как крыса в антиантропологических обстоятельствах. Ты должен был погибнуть, но не погиб. Это прапорщик.

«Никита», Люк Бессон... Я представляю большую крысу в кожаной юбке. В лапах крыса держит окровавленный бластер.

Художник говорит:

— За ловкость в выживании среди своих прапору выдают погоны. Прапор подписывает контракт и отныне считается профессиональным военным.

Теперь мне все стало понятно.

— Ну, — художник обводит глазами потолок, — до контракта прапорщик еще немного занимается в школе прапорщиков. Не знаю, чему там учат, но после курса по специальности он начинает работать. В руки прапорщику сваливается бытообеспечение — то есть как раз все то, что полагается солдату от родины. Это может оказаться еда, обмундирование, машины... Всем этим распоряжается прапорщик. Приличной зарплатой такая материальная ответственность, как ты понимаешь, не грозит, но это уже парадокс курицы и яйца, а не то, что нельзя обойти на практике. Что было вперед: воровство или маленькая зарплата?.. У нас в полку, скажем, работали два мощных протоархонта. Экономической теорией они, думаю, не заморачивались, им некогда было. Один из них был начальником горюче-смазочных материалов. Второй — шеф столовой. И еще их друг поменьше, тот заведовал продуктовым складом. Короче, при нулевых зарплатах все трое ездили на работу на Мерседесах. А ехать было — четверть километра от дома, так что, мерседесы, видимо, были типа пляжных тапочек, так, в огород сходить. Помощник прапора по солярке, солдатик, дембельнулся на «Волге». В общем, я бы сказал, что прапорщик — это малый государственный бизнес.

Художник замолкает. Я прикидываю объемы. С учетом протяженности наших границ, совокупный доход прапора по России — это не 25 зоофилических баксов.

— Полк, — продолжает художник, — маленький греческий полис. Там есть свои боги, жрецы и весталки. Если все они вовремя получили откат, жертв не будет. Главное, чтобы при проверке не всплывала какая-нибудь фигня. Ну, это известно. Если ты умеешь хорошо оформить и написать, ты на месте. Если никак не получается это сделать, тебя заменят. Это же твой бюджет!

Я киваю и думаю о роли весталок в истории отката. На гражданке, кажется, уже все по-другому.

— Да, — мечтательно говорит художник и кусает пирожное, — если бы все продукты, которые прапорщик проваливает налево, доходили до солдат, у призывников бы, знаешь, были такие огромные тела, как у борцов сумо, и лень даже ложку поднять. Но так как все это понимают, то первые полгода солдат вообще ничего не ест.

Я тупо улыбаюсь. Мне снова приходит на ум моя бабушка. В то время, когда у нее еще не отняли юбки, у ее братьев была традиция спорить на миллион, кто из них съест больше жеванных пирожков. Мои предки, наверное, были такими же дикими, как американцы в реалити-шоу на MTV. Но еще Лао Цзы говорил, что для успешного управления Поднебесной ее подданные должны иметь полные животы и пустые сердца...

— Вот, представь, — перебивает мои мысли художник, — за столом 10 человек. Первыми разливают себе еду старослужащие. Так что молодым достается капуста на дне, если вообще что-то осталось.

Я хочу молчать, но не выдерживаю.

— Что, — говорю я, — на столе общий таз что ли?

— Да, — говорит художник и продолжает, — ну, что такое солдатский стол? Это 10 человек, и для них ставят кастрюли с первым и со вторым. Если к обеду дают котлетки, значит, на столе общая тарелка и в ней 10 котлеток — на всех по одной. А вдруг старослужащим было мало?.. Вдруг они не удержались и съели по две?

Я считаю медленно, но представляю быстро. Я думаю: а что, если старших за столом будет больше 5-ти?..

Художник выразительно поднимает брови.

— А есть еще фиша. Я, например, не ел отнюдь не потому что кому-то требовалось больше котлет. Меня оставляли голодным сознательно. Такая была политика. Типа: ага, ты хитрый художник? Ты не желаешь вписываться в коллектив? Ну так мы тебя и не кормим.

Я быстро хватаю со стола сливу и что есть скорости пихаю ее рот, в виде подсознательного протеста. Я запиваю фрукт глотком кофе, и на секунду мне становится грустно. Я давлюсь, и на глазах у меня появляются слезы.

— Из-за бойкота моих сытых товарищей, — продолжает художник, — мне приходилось работать своей персональной Родиной. Я сам себе выписывал пропитание. Я ходил к поварам и устраивал им ребрендинг дембеля. Я спрашивал: ну что за альбом у тебя дембельский, такой страшный? Разве это гордость солдата? Давай я тебе новый сделаю... За дизайн нового дембельского альбома старички давали мне еду. А потом это вылилось в прочные связи на кухне. Когда я с честью прошел свой голодный период и стал в столовой родным братом, товарищи по казарме просили меня вечером сходить на кухню, что-нибудь поклянчить у моих особых клиентов.

— Погоди, — говорю я, — а те старослужащие, когда ты был молодой, с чего они взяли, что ты художник?

Он оживает.

— А вот как быть художником в армии, это отдельная тема!.. Эту линию приходилось мучительно двигать.

— Непонял! — говорю я, — зачем ее двигать, если за это не кормят?

Я кошусь на художника с подозрением. Он улыбается и объясняет:

— Первая реакция была: ты художник? На фиг нам художник? Иди копай!

II

Слушая воспоминания художника об учебной части, куда попадают новобранцы после поезда, в котором напиваются от страха, я задавала себе вопрос: если есть стройбат, то это учбат что ли?

В ближнем зарубежье, где я выросла, молодые люди почему-то жутко ненавидели это слово «стройбат». Мертвая Долина, город, в котором мы жили, изначально был поселением химиков. «Химики» — это люди, которые уже отсидели срок или выпущены досрочно, но возвращаться в культурные центры им до определенного времени запрещено. Таким образом, наша Долина, помимо того, что Мертвая, была так называемым городом-тюрьмой. В средней Азии вообще было полно городов, образованных вокруг каких-нибудь экстремальных мест, которые не годилось иметь где-нибудь рядом с Москвой. Часто жизнедеятельность таких городов-отщепенцев была связаны с химией. Например, это могли быть секретные разработки урана. На азиатские разработки — благо добычей урана заведовало НКВД — свозили разных анти-системных личностей: политических осужденных или офицеров, которые побывали в германском плену. Туда же ссылали вагонами немцев Поволжья с указом о расстреле за самовольный выезд из Азии, и корейцев из Забайкалья. Позже, в мирное время, в Азию, кроме студентов, специалистов крупной промышленности и больных астмой, отправляли обычных уроков. Уркам надлежало съезжаться из своих тюрем в некое место подальше от цивилизации и там работать на опасных производствах, отмечаясь каждый вечер у коменданта. Практически все они, в конце концов, забивали на посылки с родины и оставались на местных фруктах, образуя новые поселения. Наш город, в частности, начался с уголовников. Исторически он условно делился на старую часть и новую. В старой части города жили сплошные химики, в новой — разбавленные, то есть, те, кого прислали уже на готовое место, чтобы освоить его и превратить в обычный промышленный центр.

В старой части Мертвой Долины стояла большая тюрьма – почти антик, но принимала арестантов исправно. Вокруг тюрьмы возносился высокий забор, со щелями между нестроганных досок. В горах мало дерева. Сквозь щели в деревянном заборе всю тюрьму было видно — с собаками, вышками и туалетами. Из-за чередования щелей, если двигаться вдоль забора, движения тех, кто находился внутри, казались замедленными. Для лучшей фиксации изображения нужно было встать под деревом смиренно (чтобы сливаться с природой и не выпячивать свою призрачную свободу). Еще годилось выбрать дом с восточным балконом напротив, воссесть там, жуя виноград, и без уколов жалости изучать жизнь на зоне – сверху. Только в старом поселении химиков никто так не делал.

Новую половину Мертвой Долины начали строить, чтобы расселить правление химического завода. Первые дома для правления были примерно на 30 лет младше тюрьмы. В домах второй волны эмиграции селились служащие высокой квалификации, дальше просто все подряд и их дети. Когда появились дети, стали нужны учителя и дополнительный отряд милиции. Опорный милицейский пункт квартировался в моем подъезде. Так вот, «стройбат» каким-то образом ассоциировался у тамошней молодежи с угнетением свободы и духа — синей формой, забором и замедленно шагающими собаками. На тупую шутку вполне годилось ответить: «Твоя мама – стройбат».

Армейская учебка в рассказе художника почему-то сразу нарисовалась мне непочетным местом типа стройбата. Сложно сказать, почему весь мир опутан цепями ассоциаций.

— Прежде, чем переехать в настоящую часть, ты полгода тусуешься в учебном подразделении, — рассказывает художник.

Он уже закончил обводить портрет недовольной заказчицы и теперь только рассказывает, не отвлекаясь на работу.

— Полгода — это твой армейский учебный год. Отучившись, ты едешь в часть и там, по идее, спокойно служишь уже до конца, если дадут. Некоторых и после учебки могут перекидывать с места на место каждые несколько месяцев. Тебя когда-нибудь переводили в другую школу, в чужой класс?.. — спрашивает художник.

Живо представив ситуацию, я киваю в ответ, вытянув губы трубочкой. Переезды мне очень знакомы. Убедившись, что я его поняла, художник тоже кивает и продолжает рассказывать.

— В учебной части ты получаешь профессию. Ты получаешь профессию и дальше шагаешь с нею по армии. Но есть вариант...

Неожиданно, по причинам, которых я пока не могу понять, он приглушает голос, потом трет глаз и вдруг замолкает совсем. На его лице застывает непрошенное выражение протеста. Он смотрит в одну точку и молчит, явно испытывая какие-то трудности. Мне не нравится эта пауза. Я мельком смотрю на часы. Наше время еще не далеко кончилось. Обычно мы работаем по три часа, иногда задерживаемся на дольше. Я жду и гадаю: чего ему так не хочется говорить.

— Нам намекали, — наконец выдыхает художник и опять стопорится.

Мой первый импульс при таком осложнении — налить ему чаю. Но я думаю о том, что тогда он согреется и, боюсь, сменит тему, а мне хочется знать, какого фига он замолчал. Чтобы слиться с природой, я делаю отсутствующий вид. Мой бойфренд при жизни работал с политиками. Он говорил, что когда смотришь в окно, тебе рассказывают самое интересное. Думаю, у него были натренированы уши и, медитируя на окно, он мог засекал фальшивые интонации. Окна нет, бойфренда тем более. Иногда, не чаще, чем остального, мне хочется, чтобы весь мир исчез, словно гэдэровская стена. Стена разделила живых и мертвых. Когда мир исчезнет со всеми, кто жив, я, возможно, увижу целые близнецовые башни или хотя бы их призрак.

Наверное, пользуясь тем, что мои глаза замылила нежность, и я явно не здесь, художник быстро берет себя в руки и выговаривает:

— Нам намекали, что если мы захотим, то можем своих товарищей... в общем, можем за счет наших товарищей...

У меня нет журналисткой паранойи, чтобы за каждым словом подозревать грязный скандал, но я резко возвращаюсь в реальность. Художник смотрит, как бы спрашивая, говорить ему или лучше держать язык за зубами, может у меня душа невыносимая. Я поднимаю глаза от чашки. Мой кофе остыл, и на сердце тревога. Но глаза журналиста всегда ясны.

— За счет товарищей можно набирать баллы, — твердо заканчивает фразу художник, — если ты время от времени сдаешь товарищей по учебке, если ты выполняешь приказы и в письмах на родину как бы мечтательно рисуешь нашивки прапора на полях, тебе говорят: оставайся! Нам такие нужны на фабрике сержантов, муштроват следующих.

Он выпаливает это быстро, почти скороговоркой, и сундук моей памяти вдруг опять распахивается, словно отвратительная шкатулка с чертом из мучительных сказок Андерсена. Мне становится не по себе. Я смотрю на художника и думаю, о каких еще вещах меня заставит вспомнить его рассказ. Должно быть, мемуары — это заразно, особенно, если речь идет о глобальном.

В нашем азиатском городе, в Мертвой Долине, на фоне мирных обычных будней тоже были свои товарищи, набравшие баллы — мальчики и девочки, которые наводили ментов на своих.

Я перестаю слушать художника.

Свеженьким могильным венком на меня словно плюхается сверху что-то тяжелое. Мне хочется встать с дивана, но я остаюсь сидеть. Я понимаю, что моя работа — слушать и записывать. Но еще я понимаю, что в текущих обстоятельствах мне уже не отделаться от привидений Мертвой Долины. Возможно, если впервые вспоминаешь о том, о чем однажды забыл, это

по любому будет кошмаром чисто от неожиданности. Шаря рукой по лицу, я стаскиваю очки. Наглядный мир в близоруком зрении слегка расплывается. Я криво улыбаюсь и мысленно вижу перед собой двор, бассейн, плакучие ивы и старых ушедших друзей.

— Ты чего?

— Ничего.

Художник недоуменно оглядывается. Я надеваю очки и делаю вид, что протерла стекла. Я думаю о том, что будет неплохо, если в память об ушедшем художник пару минут помолчит.

Мне будет довольно пары минут — с набравшими баллы товарищами все было просто.

Чтобы закрыть дело о краже велика или вандализме в здании ПТУ, милицейский опорный отряд Мертвой Долины не бегал на территорию химиков. Он вообще никуда не бегал. В средней Азии жарко, плюс 50 в тени. Это плохая погода для упражнений. Но по вечерам, когда дети отучили уроки, вынесли мусор и могли спокойно потрепаться под ивами, отряд выходил на закрытие дел.

После шести мы предпочитали прятаться. Мы уходили на заброшенную на стадии строительства новую почту — огромное многоэтажное здание. Там, в футуристических интерьерах бетона и полутьме, мы рисовали на стенах людей в кимоно, и это был наш спортзал. Или мы просто трепались, сидя по окнам, или громили осиные гнезда. Кто-то целовался на лестнице. Я выносила почитать эротические рассказы и врала, что переписала из Мопассана. Время от времени мы меняли места тусовок, перемещаясь всей разрозненной кучей за поля на канал, или уходили в пещеры, в горы. Но были среди нас дети без интуиции, они оставались под ивами в огромных дворах нового города, играть в шахматы. Вот их и сажали за украденный кем-то велик. Или за что-то еще.

Свидетельские показания по «велосипедным» делам давали те самые мальчики и девочки, набравшие баллы. Их имен мы не знали. Мы вообще точно не знали, существовали они или нет. Вычислить, кто проходил свидетелем по какому-то делу, не представлялось возможным: открытых судов по детской мелочи не было. По более крупным делам заседания проходили, но на таджикском. Делопроизводство тоже велось на чужом языке. За малостью города правосудие творилось молниеносно. Абсурдность наказания за велосипед заставляло подозревать, что преступления, которые закрывали детьми, в реальности были более тяжкими.

Дела обрастали слухами. Родители из зала суда выходили заплаканными (обычно это не были семьи правления). Друзей осужденных подростков в ближайший месяц мистическим образом тянуло к зоне. Мы прилипали к дальним деревьям и смотрели сквозь кривые дыры в заборе. Фиг мы там видели наших товарищей. Нам казалось, что мы теряли их навсегда. В принципе, так и было.

Иногда безымянные осведомители помогали органам привлечь и закрыть тех, на кого милицейский отряд положил зуб. Иногда, говорят, осведомители что-то подбрасывали или писали нужные заявления. Я помню, как кто-то из наших после выпускного хвастался направлением в высшую школу милиции. Может быть, у меня паранойя. А, может быть, хорошо, что кого-то из прошлого я больше никогда не увижу.

Если в город приезжал кто-то новенький, мы без разговоров брали его в компанию. Мы оберегали его и никогда не рассказывали о приговорах на чужом языке.

Я выключаю диктофон.

— Передохнем?

Художник удивленно кивает.

— Я покурить хочу, — объясняю я и иду в коридор.

III

Стабильность материального бытия мне иногда важно почувствовать легкими. Выйдя из галереи, я поджигаю вог, с чувством затягиваюсь и тут же тушу.

Кофе, сигареты, цветы, смс-ки — как и остальным современникам, желающим время от времени не отказывать себе в сложных эмоциях, в душещипательные моменты мне нужны эмоциональные костыли: конструкции из символов и условных обозначений, подпирающие мой шаткий психологический мир. Смс-ки условно обозначают любовь. Кофе — комфорт. Сигареты — волнение. Мне дороги эти подпорки, сформированные культурой и стоящие на грани между материальным и чувственным. Если опираться на них, мои нервы, может быть, сохранятся до старости.

Я догадываюсь, от чего каменный человек умирал молодым.

Отсутствие в быту йода и мыла — это критично. Но быть один на один с дикой реальностью, без культурных подпорок, должно быть, хуже.

Настоящее, как говорят, субъективно. Мне трудно представить себе большую опасность, чем окончательно субъективный мир: ты субъективно видишь, что кошки лиловые, и ничего не можешь с этим поделать. Чтобы не сбрендить от собственного уникального взгляда на вещи, надо как-то опираться на то, с чем согласны все остальные. Нужно признать, что кошки лиловыми не бывают, иначе тебя признают больным. Наверное, именно так возникали условные знаки и символы — не важно, что ты там чувствуешь субъективно, и насколько это отличается от того, что знает кто-то еще. Важно все упростить: если даришь цветы, значит, любишь.

Перестань мы хвататься за знаки и символы, возможно, настоящее оголится и утянет нас из материального бытия, как атмосферу утягивает в озоновую дыру. Это страшно (вероятно, изначально мы знаем, каково там, в холодном небытие). Будто из боязни упорхнуть из совместного обжитого мира, мы утяжеляем свои индивидуальности общими смыслами и даже метим тела печатями. В 70-е, например, на телах рисовали синие «Л-И-Д-Ы» на костяшках пальцев и розы на бицепсах. В миллениум твоя печать — это разноцветный дракон на заднице. «Пять колючек на хвосте обозначают месяц, когда мы трахнулись, а форма треугольника на морде»... Смысл дракона зашифрован и понятен только двоим. Из салона тату каждый день выходят по 40 одинаковых смыслов. Однотельных близнецов бережно разносят по городским кварталам, и воздух вокруг наполняется чем-то значительным. Только ты и я. И с нами еще 38.

Найди меня в этот каменный век! (Если продерешься сквозь парадоксы общего в частном).

Я застегиваю боль на все пуговицы и возвращаюсь. Я включаю свой цифровой дивайс, и художник опять начинает рассказывать, на немного растерянной ноте. Я тепло улыбаюсь и делаю вид, что хорошо покурила.

— Тем, кто после учебки соглашается остаться в учебном полку, — промаргиваясь, говорит художник, — дают звание «сержант».

Я киваю. Мне почти полегчало.

— Учебные сержанты никогда в настоящей части не были. Ты понимаешь? Сержанты пришли новобранцами на учебку и в ней остались. Они не были в настоящей части. Никогда. Все, что они видели, это учебка. Но именно они, понятия не имея о настоящей солдатской жизни, создают этот устойчивый миф про персональный мужской ад за забором. Сержанты хором убеждают новобранца, что если его не оставят в учебке — всё. Лучше вешайся или поймеешь все ужасы, какие еще можно придумать.

Я ежусь. «Какие еще можно придумать». Если разобраться, врожденных опасений у человека не много — тех, что достались нам от природы, с молоком матери. Страх умереть, страх остаться голодным. Еще ужас — потерять уважение соплеменников. А страх, например, пере-

ночевать без сигарет? Похоже на смерть, но... Мужской ад, да, мы в него верим. Любой из страхов — как природный, так и культурный — не проблема распространить. От великого до ничемного, сквозь екнувшее сердце, как проводник тока, только ехни. Белым шепотком в темноте. Кто-то вскочит и включит свет. В казарме не вскочишь. Я спрашиваю:

— Сержанты запугивают салагу, чтобы показать, как они были правы, когда согласились муштровывать молодежь, или по приказу командира? В смысле, им приказывают пугать? Или они сами?

Художник кидает взгляд в угол и начинает внимательно рассматривать свой большой палец. Потом он неохотно пожимает плечом.

Проехали, — разочарованно думаю я и жалею, что не узнаю, от кого пошел страх новобранца. Я все еще не в курсе, зачем знание про солдатский страх лично мне, но часто бывает, что информация как бы посылается тебе свыше заранее. Художник вздыхает.

— Понимаешь, дистанция между офицером и новобранцем в учебке огромна, — осторожно говорит он, — офицеры в учебной части вообще могут не появляться. Вся работа офицера в учебке — свалить работу на сержантов. Офицеры приходят в часть к 12-ти часам дня, на развод. Они проверяют, все ли хорошо и уходят домой. С солдатами они не общаются. Задания на день выдаются сержантам, в крайнем случае, прапорщикам, которые охраняют добро и... Знаешь, получается, что вся власть над солдатами в учебке сосредоточена у сержантов...

Не проехали, — смекаю я и продолжаю тему об истинном источнике страха. Мне хочется разобраться.

— Исполнительная власть у сержантов, — чуть вопросительно говорю я и прищуриваюсь, — а законодательная у кого?

Художник кривится. Я чувствую себя мерзким газетчиком, падким на розыски негатива.

— Ну, — неопределенно отвечает художник, — сержант же не бог иерархии. Скажем, если он плохо себя ведет, напивается или открыто нарушает элементы здоровой службы и общий режим: в такое-то время построиться, час простоять не месте или строем пойти в столовую с песней... В общем, если он это все открыто нарушает, на него спускается гром и молния. В наказание сержанта отправляют в обычную часть, ужасы про которую, кстати, он же и разносил.

Я киваю.

— И, знаешь, — говорит художник, — в ночь перед отъездом бедняга плачет от того, что сейчас попадет в настоящую дедовщину.

«Не рой другому легенду», — думаю я и чувствую себя полной ехидной.

— Нет, я не хочу сказать, что обычной части не нужно бояться, и там нет никакой дедовщины. Но что в учебке, что в части — везде ж одинаково. Везде одинаково. Всего-то и ужаса там только в том, что с каждым новым переездом тебе приходится адаптироваться. Ты когда-нибудь адаптировалась?.. Кажется, я уже спрашивал... Ну, понятно, что адаптация к среде — это стресс. Это новые товарищи и прапорщики. И ты снова голодный салага. Но через полгода, если постараться, ты уже практически в полном порядке. Ты занял свою нишу, и тебя глобально никто не трогает. Нет никакого ада.

Я улыбаюсь.

— Так ты хочешь сказать, что новобранцы в поезде зря блевали? — спрашиваю я.

Художник разводит руками, как бы говоря: «Наконец-то ты поняла».

— Наверное, смотря как к этому относиться... У меня, например, начальная адаптация проходила так. Все, что творилось в учебке, мне не нравилось. Я постоянно конфликтовал с сержантами, потому что видел, что они сволочи. Нормальные люди в учебке не остаются. Это мое мнение. Вот. Ну, одного, ну двух сержантов я мог побить. Группу — нет. Но наезжать на меня группой было уже чревато для них. Если со мной в разборках что-то случится, и это не удастся замазать пластырем, накажут сержанта. А какому дураку хотелось в обычную часть?

Этот принцип надо было просто быстро понять. Я сначала немножко подрался, мне навтыкали. Было больно, зато я выставил себя неуправляемым элементом. И чтобы поставить меня на место, сержанты от греха подальше стали привлекать легальные методы. Например, меня официально отправляли в наряд... Что такое наряд, представляешь? Это когда ты всего-навсего не спишь почти сутки и моешь посуду или безостановочно фигачишь в столовой пол. Если нервы крепкие, от этого не тянет застрелиться. Мой наряд длился обычно месяц. Вот месяц ты не спишь и лазаешь по столовке раком. На третью неделю — каааак в сказке... Зато я доказал сержантам, что мне на них нас..ть.

Щеки художника ползут в разные стороны от еле сдерживаемой улыбки. Я беззвучно хихикаю. Мне приятно, что мы, наконец, вырулили на жизнеутверждающий мотив. Если ты чучельник, тебе не годится долго предаваться унынию. Твоя жизнь не легка снаружи, если она будет тяжела изнутри, труба.

— Да, а потом еще в качестве наряда есть свиарник. Наряд на свиарнике выглядит так: ты приходишь, и тебя первым делом просят считать поросят.

Из меня вырывается вопросительный кашель. Художник хлопает себя по коленям и ржет.

— Нет, чего? Полезное дело. На свиарнике тоже живет сержант, пастух-свинопас. Тебя посылают ему в помощь. Обычно этот бедолага, свинопас, даже не выходит за территорию. Никто ему не запрещает. Но он просто не может. Свиной запах, он, знаешь, такой мощный, мощней олдспайс24часа... От сержанта-свинопаса за километр такой штынь!

Я бессердечно морщусь.

— Люди с ним общаться не будут. Но внутри свиарника он — король. У него там собственная кухня, он себе сам пищу готовит... И когда тебя присылают... Да, обычно свинюшники — это такие ребята из деревни, с красными щеками, здоровые. И вот, когда к нему присылают виноватых солдат, знаешь, на свиарник, он чувствует себя очень круто. Ты виноват, а он — нет. Поэтому первым делом он приказывает считать поросят.

Я хмыкаю. Если к жизни относится с энтузиазмом, — думаю я, — не так уж плохо.

Однажды перед каникулами наша школа зажилила денег на уборщиц, и ученики по указу директора драили плитусу. Мне понравилось. Я драила плитусу и думала о том, какую приношу пользу, и как будет хорошо — все лето школа простоит девственно чистой, с порошковыми разводами по стенам. Драя стены, я даже напевала под нос. Но вдруг из кабинета вышла наша географша и сказала: «Ну наконец-то, Лопухова, я вижу тебя на коленях». С тех пор я знаю, что энтузиазм жизни — это то, что можно легко размазать по плитусу.

Художник смеется.

Если хочется коленей, ты попроси по уму, — думаю я. Все же люди, изобразим...

— Поросята — маленькие, — перебивает мои мысли художник и показывает размер поросят ладонями, — маленьких поросят ни хрена не видно! А свиарник, где они живут вместе с большими свиньями, и их надо считать, он такой длинный, больше 60-ти метров. Одноэтажное здание с треугольной крышей. Посередине такой проход, как в поезде, не широкий, а по бокам идут такие грязноватые купе — для свиней. Для семейных. Ну, в смысле, каждая свинья вовремя рождает десяток штук и... Я правильно? То рассказываю, нет?

Посмеявшись, мы даем себе слово отныне и впредь... Армия — серьезная тема.

— Поросята прячутся! — прыскает художник, и мы начинаем опять смеяться, — пока ты их считаешь, они голодные, знаешь, и все одного оттенка. Они туда ныряют, в молочные железы... А потом половина падает куда-нибудь, наевшись, остальные еще носятся, потом тоже падают, другие вскакивают. У них своя жизнь. Пока ты ходишь и тыкаешь в них пальцем... В общем, точное количество установить не удастся.

Я думаю над смыслом поросят.

— И вот, — продолжает художник, — в качестве наказания меня поставили на свиарник учебного подразделения, и я пошел калькулировать. С трех подходов к поросяткам по осо-

бой системе у меня получилось разное количество материальных благ. Я старался. Но сначала поросят было 100, потом все меньше и меньше... По сценарию меня полагалось за это побить. Я принес свои подсчеты свинопасу, тот скорчил рожу и выразительно долго закатывал рукава. Я думал только о том, как бы нам не свалиться в эти купе для свиней... Не отмылись бы... Ну, мы не свалились, нет, но после драки на свинарнике меня посадили в кутузку за срыв наряда. Так что большого опыта в животноводстве я не набрал. Дальнейшие работы на свинарнике я видел только со стороны. Вместо меня туда прислали других виноватых. И эти бедняги, которых прислали мне на замену, работали так: старая кобыла запрягалась в телегу, на телеге стояла грязная цистерна с надписью «Молоко», снятая с молочной машины. Это транспортное средство использовали для перевозки помоев из столовой. Помоями кормили свиней. Еда нереально вонючего запаха. Я жевал в своей кутузке сено и молился, чтобы ветер не в мою сторону...

Художник делает паузу.

В моем незанятом мозгу тут же встает нереально жалкая пикча. Один мой одноклассник в Мертвой Долине сезон за сезоном поднимался в пять утра и шел с большим бидоном собирать по городу корм для свиней. Это было объектом злых шуток. Семья того мальчика жила между старым и новым городом, над горной речкой, в частных домах, где все держали хозяйство.

В палисадниках частных домов росли огромные розы. В сезон цветения эти розы обрывали два моих знакомых хулигана из новых пятиэтажек. Они обрывали цветы на заре и дарили мне, кто вперед. Часов в шесть утра они звонили в мою квартиру, совали мне ворованные букеты и убегали. Однажды рано утром, стоя на кухне с букетами роз и туго соображая, куда их поставить, потому что в доме не осталось уже ни одной емкости, кроме унитаза, я увидела в окно свиного мальчика. Мальчик шел по пустой улице. Он был одет в школьную форму, видимо, чтобы не опоздать к урокам после сбора помоев. Его большой бидон стоял на останках грязной детской коляски. Мальчик тащил коляску за собой, медленно и как-то обреченно шагая. Плюх-плюх. Это было его домашней обязанностью. Вместо ручки на коляске с бидоном была смотанная вдвое проволока. Как потом оказалось, свиной мальчик собирал помои все школьные годы. Только перед самым выпускным вечером частный дом, где он жил, и еще несколько таких же домов смыла горная речка. Обычно эта речка была мелкая, в глубоких местах по пояс. Но растаявший вдруг ледник поднял ее на 7 метров, и она смыла дома, палисадники с розами, постройки и, должно быть, свиней. Думаю, для юного свинопаса стихийное разрушение стало счастьем.

— Ну так вот, — говорит художник и складывает руки на коленях.

Жалкая пикча про свиного мальчика быстро ретируется, и я с легким осадком слушаю дальше.

— Возле столовой в нашей учебной части была вырыта яма, размером с комнату. В яму сливали помои. Но пока их туда сольют, они уже десять раз перебродят. Солдаты, которых ставили в наряд на яму, обычно работали в паре. Ведром — представь — кривым скрипучим ведром наказанные новобранцы должны были начерпать тонну вонючей байды. Время для этого было не ограничено, никто их не торопил, но других способов, кроме ведра, почему-то не решали. Ребятам надо было наполнить помоями цистерну с надписью «Молоко». Потом они отвозили полную цистерну на свинарник и там раздавали перебродившие помои свиньям. День такой работы, и человек так пропитывался помоями, что — *00* — *блин*, до конца жизни у него был один удел — дедовщина. Никто уже не забывал, что он работал на яме.

Я киваю и стараюсь не вздохнуть тяжело. На лице свиного мальчика в Мертвой Долине навеки застыло странное выражение. Его избегали даже сборщики комсомольских взносов. И даже на сайте «Одноклассники» он был почти одинок.

— Ну, ты представляешь, — тоже сдерживая вздох, как бы читает мои мысли художник, — работы на яме я наблюдал из кутузки. А на следующее утро я проснулся и еще до зав-

трака подумал, что мне активно не нравится этот свинячий наряд. Я стал размышлять, как бы выбраться. И мне повезло. Из окна кутузки я случайно увидел, как на территорию приехала знакомая машина... Да, — художник прерывает себя и хлопает в ладони, — я же забыл сказать! К тому времени, до свинарника, я уже начал потихоньку двигать линию художника. Ну, помнишь, я тебе говорил — я рисовал для дедов, оформлял альбомы красиво. Так уж вышло. Я улыбаюсь.

— По идее, — поясняет художник и рассказывает про события, которые случились с ним до свинарника, — с самого начала в учебке мне планировали дать специальность «механик, водитель самоходной артиллерийской установки». Самоходная установка, это, короче, такая пушка, которая сама ездит, похожая на танк. На ней меньше брони и она далеко стреляет. Обучались мы на ней так: прибежали в сапогах на полигон, язык на плечо, плюхались вместе с инструктором в эту установку, только для учений с нее сняли пушку. Без пушки эта самоходная конструкция выглядит типа гроб. Да ты не смейся, типичный гробешник, с колесиками. Металлическая такая бронированная фигня, на гусеницах... В этой фигне нужно было по кругу — большой такой участок земли, покрытый грязью, с различными рельефами местности — в общем, нужно было этой самоходной фигней управлять в полевых условиях: проехать, тронуться — ну, на права сдавала? Вот. Я туда... в общем, один раз поучаствовал в сдавании на эти права. Но ни хрена не сдал, а только сделал мучительно больно обучающему инструктору. Он мне, значит, рассказывал, как надо трогаться с места, я все время трогался как-то неправильно, и он башкой бился об... в общем, лбом о броню. После удара о броню он выскакивал в люк... На самом деле, никакой травмы у него не случилось, потому что там надевают такие прорезиненные шапочки, как в фильме «Три танкиста и собака». Но так как он был возмущен моей тупостью, что я не врубаюсь, как надо трогаться мягко с места, он выскакивал каждый раз после своего удара о броню, потом ногой впихивал мою голову в люк и кричал: Скотина, сволочь! Наверное, ему все-таки было больно. Потом он опять сидел на своем месте и рассказывал мне заново, как надо трогаться. И я опять точно также трогался не мягко, он снова бился, выскакивал, и так было три раза. Наконец, он не выдержал и сказал: «Х.. с тобой, едь!», и мы поехали.

Я опять улыбаюсь. Если бы новобранец был бабой, думаю я, инструктор бы вел себя по-другому. Из своего далекого мертводолинного опыта я знаю, что баба и средство передвижения это две вещи, которые будят фантазии. На нашей улице жила городская модистка — роскошная немка с огромной грудью, круглыми бедрами и черной косой вокруг головы. Однажды она вернулась с работы расцарапанная, в белом финском пальто, уляпанном рыжей глиной. Добредя до дома, она поднялась к соседке, у которой собирались по вечерам. Соседку модистки звали тетя Тамара.

Муж тети Тамары в то время как раз отбывал срок заключения за то, что типа долбанул мента по фуражке. Все знали, почему он его добланул — ему пришлось защищать сына, астматика, которого менты хотели загрести за какое-то необдуманное ругательство на таджикском. Если бы астматика посадили, он бы не выжил. Тогда его отец пошел и сбил с милиционера фуражку. Пока отца арестовывали и судили, про сына забыли. Но, говорят, перед войной в 91-ом он все равно угодил в тюрьму, хотя я не знаю точно. Пока семья т.Тамары была неполной, тетя Тамара — отменная хозяйка — тратила энергию дружелюбия на соседей. По вечерам она пекла офигенные разборные пироги с малиной, которую привозила с родины. На эти пироги собиралось полгорода со всеми детьми и близкими. Из столицы даже однажды привозили молодого Леонова. Расцарапанная модистка ввалилась как раз на т.Тамарины разборные пирожки.

Ничего не объясняя, она села на стул в пальто и попросила зеленки. Ей дали водки. Оказалось, что модистка вывалилась на полном ходу из незнакомой шестерки. По дороге с работы

ее поймали два кабардинца и затолкали в черную тачку. Драться в салоне не слишком удобно. Инструктору художника повезло, что в танке есть люк. Иначе его радость была бы неполной.

Попав в машину к кабардинцам, модистка не стала сбивать фуражки. Добровольная романтика на заднем сиденье — это одно. Романтика на заднем сиденье с двумя злыми кавказцами — немного другое. Чувствовать себя будешь хуже. Улучив момент, модистка открыла дверь и выпала из машины. Она кувыркалась по асфальту долго и страшно, и мужчины не стали останавливаться и поехали дальше. Модистка прихромала к тете Тамаре, выпила водки и разобралась с кабардинцами на свободе. Ее похитителями оказались два брата. Через неделю они принесли модистке конверт с тысячей рублей откупных. Из уважения они не стали беспокоить пострадавшую звонком в дверь и смиренно положили конверт с деньгами на подоконник — модистка жила на первом этаже. За откупные модистка выкинула им в форточку заявление о возбуждении уголовного дела. Она была умная тетя — она шила платья жене прокурора...

— Ну и? — напоминаю я художнику, гоня ассоциации прочь, — вы поехали в гробу...

От воспоминаний художник свежо улыбается. Чучельник умеет распорядиться прошлым, иначе что ему светит в будущем?..

— В общем мне так понравилось ехать! — говорит он, — все дребезжит и колеблется. Скорость я набрал, еду, а в этом гробу нет руля.

Я делаю большие глаза.

— Вместо руля в самоходной конструкции рычаги, — объясняет художник, — и один из рычагов на том драндулете плохо работал. Но я об этом еще не знал. Поворот в гробу выполнялся не так, как в обычной машине. Чтобы куда-то свернуть, надо было тянуть рычаг на себя. Рычаг замедляет движение гусеницы, и машина едет, куда тебе надо... И вот, мы разогнались как следует в поле, и тут этот рычаг. Я дергаю его на себя, как учили, и вижу, что мало чего происходит. Я его дергаю, но он свою миссию не выполняет, я пугливо верчу головой в разные стороны, и мы едем так хорошо по прямой, но в речку. Я не знал про рычаг, честно!

Из глаз художника разливается блеск, не похожий на месть или слезы. Наверное, просто речка запечатлелась. Хитрая речка под песчаным обрывом.

— Инструктор в этом месте мощно так испугался и бормочет: я же ща утону, б..я! Но в метре от обрыва я взял и нашел тормоз. Шеф лобешником опять о броню, но меня в люк ногой больше не впихивал. Шапочка «три танкиста» съехала на бок. Я тоже вылез, смотрю на него, и — ты не поверишь — как же стыдно было мне перед родиной! Чуть обученного инструктора не замочил. И танк едва не свалил в реку. Прикинь, как его жалко! Короче, когда мы, наконец, вернулись к своим, учитель побежал от артиллерийской установки с криками: вот этого придурка больше к танкам не подпускайте близко, не присылайте его, тупорылого! Вот.

Я усмехаюсь.

Девочка Таня из Мертвой Долины, моя одношкольница, была младше модистки на 20 лет. Попав в незнакомую машину, в отличие от опытной немки, она начала защищаться. Это случилось незадолго до местной гражданской войны, когда эмигрантам уже открыто выражали неприязнь. Украденная Таня шла домой целую ночь, без трусов и босиком. Как ей удалось удрать из кишлака, куда ее завезли, она не рассказывала. Она спустилась с гор рано утром. Также, как модистка, сначала она пошла не домой, а к подружкам. Ее парень на тот момент как раз был в учебке и писал оттуда какие-то дурковатые письма.

Бодро улыбаясь, я смотрю в монитор. Художник шмыгает. Чучельник чуток к чужим эмоциям. Он вздыхает и произносит:

— Механика из меня не вышло. И руководство решило поучить меня другому ремеслу, в другом отделении, но там мне тут же прописали новый наряд. Надо было стоять на тумбочке.

— Чего?

Художник опять вздыхает и быстро рисует на бумажке дверь, тумбочку и на ней человека в шинели. Человек выглядит печальным и держит в руке бутерброд. Я несколько раз задумчиво киваю, потом спрашиваю:

— Это где?

— В помещении, блин! В спальне. Там, где спят 100 человек. Пока все они спят, тебе надо стоять на тумбочке и кричать «равняйся-мирна!» при входе офицеров, например, или другого начальства. Рядом с твоей ногой лежит книжка. В книжке отмечают, кто пришел, кто ушел. А ты стоишь сугубо на вытяжку. Если зашел начальник, ты должен всем своим криком с тумбочки показать, как ты рад и твои товарищи тоже. Это официальный наряд. А я был голодный. Я стоял на тумбочке и ел хлеб из карманов. Не комильфо, да? Каптерщик тоже так посчитал.

Художник трет подбородок и объясняет:

— Каптерщик — это кладовщик, в звании сержанта. Он руководит добром. Каптерщик зашел, когда я стоял на тумбочке, и радостно усек на моей гимнастерке хлебные крошки. Увидев крошки, он начал меня воспитывать. Начальником он был не так чтобы очень большим, но занимал сильную духовную позицию: он имел связи и распоряжался материальными ценностями. Это как примерно встретились джип с запорожцем. При этом запорожец что-то по ходу жует.

Я внимательно смотрю на художника и пытаюсь представить его запорожцем. Сильно глянцево. Хотя, если в крошках...

— Ну, стогодухи и с усталости я вмочил каптерщику сверху, с тумбочки, набил фендель, такой, на всю рожу. И джип побежал жаловаться друзьям по коптерке.

...А мне снова лезет в голову Средняя Азия. Я отмахиваюсь, мне надоело ее вспоминать.

С одной красивой гречанкой Таней (не с той, которая пришла домой без трусов, а с другой) мы любили залезть повыше. Однажды после уроков мы сидели на крыше крайнего дома, откуда открывался красивый вид, и смотрели на горы и клеверные поля. Мы смотрели на поля и думали о будущем, как вдруг увидели сверху местного ублюдка Личина. Личин бежал к домам. Он бежал, прикрывая разбитый нос ладонью. Перебирая худыми ногами, он неся по высокой траве на полусогнутых и пугливо оглядывался. Но чем ближе он подбирался к домам, тем его прыжки становились уверенней.

Мы с Таней догадывались, кто побил Личина. И примерно знали, какой будет месть. Но мобильных телефонов тогда еще не было, и мы не могли предупредить ребят, которые оказались в опасности. Пару минут спустя, шурша жухлой травой, от домов в сторону очистного канала погнала свора малахольных подонков с Личиным на корме, а нас с Таней затошнило и мы отползли на другую сторону крыши.

На очистном канале, куда с подмогой понесся побитый Личин, по традиции собирались мальчишки ботаны. Они там рыбу удили.

— Ну, так вот, — продолжает художник, — джип сбегал за своими друзьями. А друзья там были нормальные, почти дембельнутые. Они проводили время, в основном, с гирями и со штангами. Знаешь, такие под два метра ростом, два парня со Львова, бендеровцы. Ожидая, когда они прибегут, я смахнул с груди крошки и понял, что мне надо куда-то с того наряда валить, иначе вообще... гантелей дадут по шее. Я слез с тумбочки и закрылся в сушилке, на швабру.

Художник не замечает, что рассказывая, машинально сжимает кулак и легонько стучает им по раскрытой ладони. Я чувствую, как внутри меня разливается нежность...

У моего американского ангела, которому я не отослала свое последнее письмо про любовь, на костяшках пальцев правой руки было четыре шрама — короткие белые полоски в ряд. Как-то я спросила его, что это. Ангел с готовностью сжал кулак, осторожно поднес его к моему лицу и сказал: открой рот. Резкий парень.

Иногда я представляю разные части его тела, разбросанные в строительной пыли, на обрывках линолеума и самолета. А что мне еще представлять? Его бессмертную душу на облаках?

Художник закашлялся.

— Ты слушаешь?..

Я разглядываю свой кулак. Художник смотрит на меня слегка удивленно и рассеянно говорит:

— Ну, я заныкался, короче, в сушилке и сидел там, пока, это... короче, пока офицеры придут. При них как-то не корректно бить друг друга гантелями.

Интересно, — думаю я, — что у меня внутри, кроме слив, кофе и дыма? Адамант, заварные арматуры или просто цемент? Говорят, что через полвека цемент превращается в пыль и приходит в негодность.

— На следующий день, — неуверенно продолжает художник, косясь на меня с подозрением, — все поняли, что я их конкретно достал... Ты чего?

— Проголодалась, — киваю я и кладу ладонь на живот, улыбаясь, как в рекламе йогурта.

— А! Так поешь что-нибудь... Офицеры с сержантами посоветовались и решили вместо армейского ремесла научить меня чему-нибудь мирному.

Я беру себя в руки и улыбаюсь душевной.

Если когда-нибудь, паче законов биологии, я вдруг снова увижу своего бойфренда, я возьму гантель и хорошо тресну его в челюсть. Уматывать из жизни — предательство, что бы ни заставило тебя умотать. Если у меня внутри арматуры, то это только потому что кое-кто не научил себя выживать. Но в комитет солдатских герлфренд я все равно не пойду. На фиг...

IV

— И вот, — говорит художник, поерзав на стуле, — руководство постановило научить меня чему-нибудь мирному. И меня снова перевели. Мне сказали, что дадут мне профессию топогеодезиста. Работа топогеодезиста, оказалась, лафа: надо было только шарахаться по лесу, время от времени расставлять треногу и смотреть в маленькое окошко. Интеллигентная фигня. Я бродил по природе, рисовал на карте миниатюрные елки, а сержанты, которые несли ответственность за мое обучение, забредали поглубже в лес и спали. И с их легкого невмешательства я практически стал топогеодезистом. Но вместо елок я как-то увлекся и разметил местность на карте спящими человечками. Я не успел их замазать, пока сержанты не проснулись, и пришлось мне опять подраться — со всеми — не было выхода. Вот как раз после этого меня и отправили на свинарник.

Понимая, что мы восстановили часть упущенных досвинарных событий, я радостно киваю и присматриваюсь к его бицепсам. Художник машинально отряхивает что-то с короткого рукава.

— На свинарнике в наряде я опять пользу родине не принес, как ты помнишь. Зато, на утро после поросычьего счета, я увидел в окно машину. Это была обычная «Волга». Но я узнал ее и закричал в окошко кутузки: берите меня, я тут! Дело в том, что в этой «Волге» возили одного офицера, который давно уже был в курсе, что лучше всего я могу махать кисточкой. До этого он все пытался получить меня для работы, но не мог договориться с моим начальством, которое художника во мне не признавало. А тут такой случай, наряд! Наказанного солдата с наряда мог забрать кто угодно — типа раба. Поэтому офицер побежал и договорился насчет меня. Он забрал меня от свиней и вывез за территорию части подальше, на полигон...

Художник окидывает студию гордым взглядом. В моем кармане трещит телефон, и я нажимаю отбой, чтобы никто не мешался.

— И вот, — продолжает художник, — я освободился от кутузки и оказался на полигоне. На полигоне был практически рай, целый месяц я реставрировал сапоги — на плакатах. В тот же период полигонного творчества я познакомился с Толиком. Это также было очень удачно. Тема этого Толика была — протест против всего. До армии он тоже занимался борьбой...

«Ага», — думаю я и снова разглядываю его бицепсы.

— Но Толик протестовал концептуально, без нервов. Например, у него была операция «в гробу я вас видел».

— ???

— Он выходил маршировать в тапочках.

— В чем?

— В тапках. Из казармы Толик выходил на построение в тапках. Я честно не в курсе, на каких это было условиях, но в медсанчасти на Толика истратили три рулона бинтов, чтобы перебинтовать его ноги. После этого забинтованный Толик выпросил себе больничные тапочки и зашаркал к победе над врагом — супер медленно. На ходу он всем улыбался, показывал на бинты и говорил: извините, быстро шагать не могу.

Бывают же счастливые люди, — думаю я.

— И вот у нас с Толиком возникла нежная дружба, и он стал отвечать за мое пропитание. На полигоне еды было мало! Из части на машине привозили термос на 10 человек. А нас на полигоне было 15: я сам-реставратор, Толик в тапочках и солдаты, которые выкапывали какие-то траншеи. Солдаты трудились весь день — разрывали территорию, не разгибаясь. Я видел, как приезжает выездная столовая с обедом, но когда доходил до стола... В общем, Толик взялся за мое пропитание. Он сказал: не волнуйся, — художник делает заверяющий жест и таинственным голосом завершает, — ты голодный не будешь.

Я смеюсь. Голод — проверенное средство от мятежей, хотя в учебниках написано по-другому. В СА (Сейсмоопасная Азия) была одна приятная вещь.

Я вспоминаю и хищно облизываюсь.

В Мертвой Долине было полно еды. И там никогда не вводили талонов. В то время, как Россия голодала, сидя на полпалке туалетной колбасы в месяц, у нас была вареная, докторская, салями, буженина... Плюс парнуха с мясокомбината, арбузы, инжир и виноград за 12 копеек (кг). Сначала местные аграрии не догоняли российских денег, и все на базаре стоило рубль: огромная дыня, маленькая дыня, вязанка лука. Но азиаты быстро поняли, что эмигранту как новому покупателю равенство странно, и завели весы (чашку они вытирали халатом, перед тем, как положить на нее персики).

Некоторые приверженцы ретро, в отличие от базарных торговцев, продолжали продажу не килограммами, а сетками, из протеста, наверное. Ретровые продавцы привозили свой товар на мотоциклах прямо во дворы новых домов. Особенным кайфом такой распродажи были треснутые гранаты из люльки. Трескаются гранаты, когда поспеют, кто не знал. Два полных пластиковых пакета лопнувших от жизненных соков гранат ретровцы отдавали за 30 копеек. А гранаты — это наркотик. Оба пакета съедались на троих примерно за час. Лучшего ужина я не знаю.

Но 30 копеек за два пакета наркотика — плохая торговля. Ретровые развозчики на мотоциклах скоро сгнули. Все развивается, особенно, при хорошей погоде. Дети аграриев в один прекрасный день просекли, что в природе есть магазины — как особая экзотическая форма торговли. Дары природы новое поколение оставило консервативным отцам. В крайнем случае, новые местные предприниматели распахивали частные и колхозные урожаи по «Овочи-Фрукты» (вывески — это то, что аборигенам почему-то никак не удавалось скопировать).

Постепенно молодые бизнесмены совсем оставили аграрный ритейл и окончательно перешли на фирменные коллекции шмоток и даже познакомились со словом «моды». Поначалу они вываливали на прилавок все поставки по региону — Англия, Италия, Франция, США и другие товары. Потом кто-то объяснил бизнесменам, что так не делают, и они начали торговать по-русски, «из-под полы». То есть, снаружи бутик выглядел нормальным сельпо — ситчик с унылыми кантами, белые трусы для холодной погоды, закаточные машинки для консервирования. Но каждого покупателя продавцы водили на склад и давали рыться в товаре. Круче не одевался Париж во времена молодой Коко. С приходом азиатских бутиков, отпуска в Россию мы стали отбивать шмотками — барышни от кутюр возили в Россию тележки со швейцарскими чемоданами, набитыми итальянскими сапогами. Это восток. Я даже скучаю. В СА не было только картошки. Она там не росла. Природу своей культуре обучить, видимо, сложно.

— А картошкой вас там кормили? — спрашиваю я художника. Художник задумывается.

— Знаешь! — восклицает он, и я верю, — с тех пор, как за наше питание взялся Толик, у нас было все. Прихожу я, представь, на обед. Сидит Толик, рядом на столе две больших порции. Толик ничего не ест, он хочет со мной пообедать. Вокруг стоит куча голодных мужчин, знаешь, которым еды не хватило, и все смотрят. А так как Толик очень... концептуальный и в тапках, они стесняются у него попросить. А Толик сидит такой радостный, плечистый! Он все время кричал: Русланя, ну чё ты так медленно идешь, давай уже, я есть хочу!

Мы смеемся вместе, потому что мы циничные люди и уважаем силу.

— Вот так мы нежно дружили... — говорит художник, — пока нас не спровадили с полигона, мы там прилично оформились. Толик закрыл вопросы питания... Проблему с сержантами мы тоже дружно решили... И, знаешь, это даже не было сложно: у наших сержантов на полигоне был босс — прапорщик чеченец. Он приезжал на работу на велосипеде, раз в день. Ну, я говорил, военное начальство в частях не парится. Наш прапорщик был каратист. Он очень красиво прыгал, энергичный такой, подтянутый. Я так понимаю, спортзала, чтобы заниматься, поблизости не было. И вот наш прапорщик каждый день приезжал размяться — отра-

батывал серию ударов на своих подчиненных сержантах. Потом он умывался и по свежачку давал сержантам программу на следующий день: побелить казарму, выкопать 10 ям... Потом он надевал чистую майку и под таким допингом уезжал обратно. Это занимало у него 10 минут, остальное время прапорщик воспитывал детей, жену гладил. Сержанты, напуганные побоями и в ужасе от своего чеченского шефа, перекуривали и отправлялись пинать солдат... 10 ям, побелить казарму... Ощущая, что менеджмент у чеченца действенный, сержанты старались на солдатах, как полоумные. Время от времени они напивались (стресс на руководящей должности), начинали ночью всех будить и объяснять, что сержант это круто. А нам с Толиком спать хотелось! Как-то спросонья мы забили на уважение к старшим и тоже показали сержантам пару приемов. Они, наверное, подумали: вот чушь! Там ногами, здесь ногами!.. И перестали нас с Толиком вообще замечать. Предварительно, правда, они подошли к нам и сказали: делайте что хотите, только — условие, пацаны — не мешайте работать! Мы согласились. И тогда для нас вообще настал рай, пока всех не выгнали с полигона. Ям, оказалось, больше негде было копать, всю территорию раскопали... Мы грустно вернулись назад. И тут же начали репу чесать, как нам выйти из ситуации: до полигона Толика тоже ставили и на свинарник, и на тумбочку, и полы он в столовой драил. Чем-то мы были похожи, да.

...Голос пишется на диктофон, все под контролем. Я вдруг спрашиваю себя — какой это точно год? Художник немного старше меня, значит, мы были одновременно — он на свинарниках, я в СА. Художник голодал. В мою квартиру попал снаряд. Он воевал с сержантами. У меня не сохранилось почти ни одного одноклассника. Может, мы и есть крысы в бочке? Угловые квартиры при бомбежке самые не кошерные — сносит на фиг. Но мы-то выжили.

Я устало кошусь на картины и недорисованные холсты. Аборигенов в СА мы звали «зверьки». Или «звери», зависело от того, насколько они достали. А доставали они всегда — приходили, например, просить сухой хлеб, спозаранку оглашая подъезд звонками в квартиры. За сухим хлебом приходили памирцы. «Схой хлэб эсть?». Ты открываешь дверь и спросонья видишь лицо памирского князя, под ним полосатый ватный халат и гремящий сухими хлебными кусками мешок. Князь просит сухой хлеб и норовит повернуть к тебе профиль, наверное, это как у рыб — воинственный ритуал, во время которого надо развернуться к противнику боком, чтобы для остротки казаться большим, а не плоским. Носы у князей были что надо. Щеки покрыты своеобразным песочным налетом, какой бывает только на коже у памирских цыган. Синий глаз арабского скакуна. А может, это был ритуал дружелюбия — из вежливости не смотреть на тебя прямо. «Схой хлэб», поворот. Зачем они его собирали? Они были такими худыми.

Они всегда доставали. Памирские, бухарские, нурекские... Они мазали головы кефиром (волосы гуще), втирали в себя кондитерский ванилин (типа парфюм), клали под язык курево «нас», а потом плевали зеленой слюной на дорогу. Они смеялись над твоими привычками и одеждой. Два зверька вместе — непереносимый для европейца букет. Простыни на веревках у них были рыжими, как будто их полоскали в глине. Они не гладили платья. Их женщины приматывали на ночь к ладошкам сурьму, которая красит красным. Их мужчины пекли пирожки волосатыми лапами. Подростки заплетали косички и хихикали в платки. Их дети зимой и летом ходили в огромных галошах на босу ногу, и их пятки были черны. Вместо памперсов матери вырезали в матрасе младенца дыру. Такая же дыра была проделана в люльке. Они сидели посреди дороги на корточках. Они не работали в полдень. Не ели свиней. Головы у них были квадратные. В их домах ползали муравьи и ели сахарные конфеты, которые местные закупали коробками. Своих коров они зимой не кормили, выгоняя на волю, и те бродили по городу, костлявые, как модели. И, наконец, они не подтирались бумагой. В общественных мазанных туалетах на окнах лежали камни, примерно одной величины. Камни сушились на солнце для дезинфекции, и просохшими их использовали для подтирки — все подряд. Боюсь даже подумать, знали ли местные дефиницию «одноразовый». Если рядом не было туалета,

они присаживались на дороге, накидывая на голову халат. Вот так они нас доставали... Камни — принципиальный вопрос, практически конфессиональный. И головы! Эти непонятные головы были квадратными, чтобы лучше сидела национальная шапка.

Единственное, в чем круто повезло эмигрантам, так это в том, что мы на собственной шкуре узнали, какие люди бывают разные. Вся планета состоит из самых разных людей...

В моем кармане опять звонит телефон. Я виновато пожимаю плечами и беру трубку. Сначала мне слышно какой-то треск, потом прорывается голос, который слышно донельзя плохо.

— Юля? — удивляюсь я, чисто по интонации узнав давнюю знакомую, с которой мы не общались лет сто. Юля была моей соседкой по окуджавскому дому, где я жила когда-то. Несколько лет мы славно дружили. Но когда я переехала, Юля устроилась работать в право-славную школу и перестала звонить, видимо, от того, что я тогда уже работала журналистом в грешных журналах. У каждой конфессии много ограничений.

— Алле, — слышу я, — алле!

По голосу у Юли случилось что-то серьезное, но я не могу разобрать слова. Кто-то пропал или что-то такое. Я пытаюсь понять и, почти крича, переспрашиваю, но Юля вдруг прощается и кладет трубку.

— Старая знакомая, — объясняю я художнику и пожимаю плечами, тупо глядя на телефон.

Художник интересуется, что случилось, и я снова пожимаю плечами, отмечая себе на память перезвонить Юле, когда сяду в машину. Художник задумчиво щелкает что-то на компьютере, словно давая мне паузу разобраться с проблемой. Я вздыхаю и тревожно думаю, что могу потихоньку перезвонить, не дожидаясь конца интервью.

— Ну, и как вы с Толиком вышли из ситуации? — спрашиваю я, на ощупь пробуя перезвонить, но абонент не доступен.

Немного раздраженно я прячу телефон в карман и до времени выгоняю Юлю из мыслей. Убедившись, что я больше не занята, художник секунду вспоминает, на чем он остановился. Я боюсь, что мои уходы от темы, ассоциации и посторонние мысли, должно быть, висят вокруг топором. Но такой уж сегодня день, что мне с этим поделаться? Схой хлэб эсть?..

— А решили мы заболеть, — как бы ни в чем ни бывало, вдруг вспоминает художник, — да. Вместе с Толиком мы после полигона пошли и дружно сдались в санчасть. Ну, это типа армейский госпиталь. Там было хорошо. Это на гражданке не любят больницы. А в армии — лучшее место. Нас кормили, разрешали спать, в общем, все было круто!.. Но, чтобы туда попасть, надо было предъявить докторам болезнь. Знаешь, я даже не пытался ее придумать, я честно сказал, что буду рисовать — портреты медсестричек и медицинские атласы... А Толик... Толик оказался талантливым... симулякром. В любое время суток он мог исполнить температуру 39 и 9. Причем, в любом месте своего тела.

— Перец? — спрашиваю я про средство, которым для симуляции температуры, как известно, натирают подмышки.

— Нет, что ты. Толик симулировал жар перекачиванием мощных мышц — реально мощных. Медсестра давала ему градусник, сразу несколько градусников, чтобы проверить. До конца, конечно, так никто и не верил, что Толик болел. У него рожа трескалась от здоровья. Куда обычно градусники вставляют? В рот, в задний проход и подмышку, да? Подмышкой он мне показывал — создавал жар волнением мышц. Я тоже сначала не верил, что у него получится. Но, шут его знает, у него получалось... Во рту я не знаю, как он создавал, в заднице — тоже не видел. Но в нужный момент у Толика всюду оказывалась температура 39 и 9, и он продолжал болеть. Может, и правда, чем-нибудь мазался? Но не суть... Мы прожили с ним в медсанчасти полтора месяца или два. От меня там вообще ничего не требовалось, главное, надо было смирно лежать и хорошо есть. Кушайте, мальчики. Кушали мы там даже больше, чем надо. Скучно было, и мы еще ночью ходили до холодильника и съедали масло сливочное,

что там вкусенького, сметану. И потом с утра мы возмущенно кричали: где наша едаааа! В результате я набрал 15 кг лишнего веса, и мы еще придумали развлечение — бегали после отбоя к зеркалу, смотрели, какие мы толстые, и смеялись. Но закончилось все печально. Я уже говорил, что через полгода учебки готовых специалистов расформируют по разным частям. Нас с Толиком тоже расформировали, дали нам новую форму и новый путь...

...Я представляю художника с Толиком и нежно думаю о своих и чужих. Старый и новый город Мертвой Долины разделял огромный пустырь, который в свою очередь рассекала на две неравные половины горная речка — та самая, что снесла дом свинского мальчика. Узкая и быстрая река, спускаясь с гор, текла по глубокому руслу, на самом его дне. Вода в реке была почти нефтяного цвета и теплая до противности. Над речкой висел мост, перейдя который ты условно попадал в старый город, хотя фактически до него было топтать по солнцепеку еще полчаса. Но если знать, как сократить путь, мост можно было миновать, слегка промочив ноги, выбраться на глинистый холм, где росли дикие арбузы с цветами, похожими на орхидеи, оттуда надо было быстро пересечь солнечный пустырь по болотам и выйти через дыру в заборе музыкальной школы почти в самый центр старого города.

В новом городе, где мы жили, почти не было зелени и деревьев, кроме быстрорастущих ив у подъездов. Для озеленения мы сажали ивовые палки всем двором и потом всю весну бегом носились с ведрами, черпая воду из уличных бассейнов, нам очень хотелось, чтобы деревья не сдохли. Проходя же по пустырю в старый город, ты выныривал на роскошную тенистую аллею. Это была не просто аллея «класса-А», а еще с ретровым налетом, типа мест в толстовском поместье. На самом деле старая аллея редко шумела, потому что в СА почти не было ветра (кроме пыльной бури афганца). Но когда твоя голова просовывалась в забор музыкальной школы, первое, что ты слышал, придя со знойного пустыря, — шум листьев. Это была благодать, полный улет. Если бы не таджики. Мимо банд аборигенских тинейджеров нам редко удавалось просачиваться. Они знали наши пути. Горные люди.

Самое страшное, что у них было — большие дурные собаки, лохматые как медведи. Самое страшно, что было у нас — ощущение, что тебя выкинули с фан-зоны. Аборигены были чужие люди, чужие, враждебные, не дававшие жить, следившие из-за углов и деревьев, мешавшие ходить по аллее и слушать шум свежих листьев и прохладные звоны арыка... Это грузило. Знаете.

Мне ни разу не пришло в голову, что чужие там — мы.

Они нападали на нас, и мы дрались. Они пинались совдеповскими ботинками. Наши польские кроссовки не давали таких пинков. Они травили нас собаками, и если нам не удавалось сбежать, лупили под бешенный лай, словно под музыку. У них в банде всегда был кто-то один, кто держал собак за ошейники — худой, но решительный. Сквозь пинки было страшно-вато, что он не удержит собак. Удерживал. Если нам удавалось сбежать, они обкидывали нас вдогонку глинистыми камнями. Они были яростны. Они сражались за родину.

Никто из нас не догадывался, идя в старый город, надеть эти хреновы совдеповские ботинки на кирпичной подошве.

Из организованных местных бандитов самым известным был Пир. Он сам себя называл Пиром и травил легенду про могучих ориентальных фараонов. Пир по-египетски — фараон. Фараон старого города травил легенду и пускал ее бежать впереди себя, и она бежала, как волны под корму Стеньки Разина.

Как-то весной мы ходили в кино. Показывали что-то хорошее, типа Танцора Диска. Нельзя было не сходить. В кинозале, как правило, держалось бедное перемирие. Как дети цивилизации, мы держали его куда лучше и без мата терпели семечки, которыми нас заплевывали. В тот особенный показ, как обычно отряхиваясь после сеанса от семечной шелухи, мы вдруг узнали, что на нас идет Пир. Он не просто идет, а на нас. Откуда донесся этот достоверный массаж про Пира, фиг знает, толпа. Паника достигла апогея, едва мы вышли на дорогу и уви-

дели, как закрываются магазины. Был поздний вечер, и для магазинов просто наступила пора закрываться, но нам казалось, что двери захлопываются у нас перед носом из-за нашествия Пира. Мы побежали.

Мы бежали быстро и долго, молча и слаженно. И вдруг, ни с того, ни с сего, на скорости завывания ветра в ушах, мне стало стремно. Мне расхотелось бежать. Возможно, в меня вселился демон Сократа, который, обернувшись внутренним голосом, по воле богов удерживал его от поступков. Я стала как столб посреди толпы. Кто-то толкался, хватал меня за руки и требовал убежать.

— Твоя мама Пир, — буркнула я.

Демон Сократа крепче цемента. Я не сдвинулась с места, пока со мной не поравнялся сам Пир. На удивление он оказался русским мальчиком, сыном какого-то химика. Он поравнялся со мной, поздоровался, и мы пошли рядом. Мальчик был увлечен восточной историей и стал тут же что-то рассказывать, без перехода, будто его рот не закрывался с утра, а весь учебный год он виснул в библиотеке, так что переполнился информацией. Банды быстро соединились. Мы шли и слушали Пирские байки. Трансцендируя труса в своем «я», я вдруг вспомнила, кто из наших пустил панику...

Это стало моим личным приколом, я никому не рассказала о паникере. Я где-то читала, что у солдат, раненных в лобные доли мозга, пропадает способность абстрагироваться от ситуации и возникает повышенная тревожность. Возможно тех, кто пускает волну паники, тоже можно оправдать какой-то молекулярной дисфункцией...

Никто больше не мешал нам ходить по аллеям. А за лето мы выросли и вообще забыли, что нам нельзя где-то ходить. С тех пор, если кто-то говорит мне, что сейчас будет страшно, я знаю: он просто любит, когда все бегут. И это всегда кто-то один. И он не будет держать собак за ошейники...

Из забытого на столе телефона художника вдруг вырывается унылая музыка. Я нехотя вздрагиваю.

— Послушай, интересно! Это ты мне звонишь, — вглядываясь в экран, бормочет художник. Хмыкнув, он предьявляет мне доказательства, — видишь?

Я тоже хмыкаю, глядя на отобразившийся номер, и шупаю в кармане свой аппарат. Взбесились.

— Ну, ладно, давай дальше.

Мы умирняем свои телефоны, мистический осадок осыпается у меня внутри на стенки желудка. Синхронизмы Юнга или что-то из серии дурацких мыслей. Может быть, человек пришел на Землю, чтобы лежать на песке и дурацко фантазировать... Художник продолжает.

— Так вот, нас с Толиком разделили и отправили в разные части. После учебки ты не едешь сразу в часть, а попадаешь сначала в распределитель — такое место, где руководство решает, как с тобой быть. На вид это обычный полигон. Там временно живут те же солдаты, и большинство из них ждет отправления дальше, то есть, такой массовый зависон на общем пространстве. Делать там вообще не хер, поэтому все заняты воспитанием ближнего.

Художник чему-то смеется. Мне грустно. Иногда я представляю себя Терминатором. Хорошо, наверное, не иметь никаких чувств, не только на лице, но и в сердце. Биологи говорят, что все наши чувства — это перебежки молекул внутри организма, а осознание себя отдельной и уникальной личностью — это химическая реакция тех же молекул в тот момент, когда они поняли, что перебежать из одного человеческого организма в другой не могут. По ходу биологической мысли меня самой и нет вовсе. Утешает только то, что остальные уникальные личности — тоже всего лишь молекулы...

— В накопительном полку, — говорит художник, — обычно бывает по несколько национальных диаспор. Армянская, чеченская, туркменская... Внутри себя они все очень дружно взаимодействуют и готовы противостоять любому, кому это не нравится, или тому, кто не нра-

вится им. По правилам диаспор это нормально — бить вдесятером одного, но ооочень противного всем. Испытывать антипатию не запретишь. Впрочем, если постараться, то можно.

Зато вызвать антипатию легче легкого, — думаю я и вспоминаю, как ничтоже сумняшеся, эмигранты в СА ходили загорать на канал.

В Мертвой Долине мы ходили на природу в бикини, с полотенцами и разбавленным морсом в бутылке, чин чинарем. За этот стриптиз на опен-эйр местные бомбардировали нас с горы дикими черепахами. Черепахи легче камней. Но размером они с хорошую сковороду, и осадок остается похуже, чем от кухонно-бытовой неприязни. Черепахи живые и, врезавшись в твою плоть, смотрят глазами. Из темноты панциря черепаший взгляд кажется полным ненависти. Отбросив первый животный ужас и приглядевшись, ты понимаешь, что это всего лишь подобие апатичности. И это вообще засада, потому что черепаха все-таки существо, со своими желаниями врезаться в кого-нибудь или нет, но на ее личную волю забили. Синяк, как память общения с живым миром, расцветает на твоём теле по своему детерминизму, словно тоже живой.

Вообще-то, ходить на природу у местных означало только одно — искать себе кого-то чужого потрахаться, чтобы в родном кишлаке никто не осудил за развратное поведение. Мы знали об этом, но со своей цивилизованной высоты, презирали местные убеждения и традиции.

— Битье личностей, противных диаспорам, — говорит художник, не подозревая о моих черепаших раздумьях, — происходит всегда в пункте А. Например, тебя все время бьют позади одной и той же столовой, или за складом. Короче, постоянное место стрелки без лишних фантазий. Это само по себе уже рождает стратегию. А конфликт в твоём новом полку всегда так же прост, как везде. Как правило конфликт всегда случается из-за жрачки. Кто-то переел, кому-то не дали. Свой стол приходится защищать. Но, извините, я уже наголодался. Поэтому в распределителе после учебки, в пункте А я припасал кусок трубы...

Я прикидываю — если он припасал трубу, значит, уже побили, за столовой, из-за стола. И он, одыбав, потихоньку нашел кусок жести и, чтобы никто не видел, принес, возможно, ночью, к пункту А, где его били. Может быть, пуговицы еще валялись в траве, и в пыли капли крови. А из столовой доносились запахи макарон. Долго слушать про голод — не то же самое, что все время ходить голодным, несчастным и бороться за жизнь, но коллективным «заодно» по моим нервам проходит легкая дрожь, а по желудочным молекулам — щетный и алчный спазм. Я надеюсь, что за разговором его не слышно.

— Диаспора покидает место обеда очень довольной, — говорит художник, — она сыта и думает, ну щас мы этого урода за столовой примочим. На десерт. Но я достаю свой кусок трубы, и, когда они видят мои аргументы, затея теряет всякий смысл. Гормонов счастья нахалёву не будет. Цена вопроса нелепо выросла. Шесть человек секунду думают, потом лица проясняются и говорят: ой, а чего это мы тут забыли, парни? И они сами гасят конфликт. Ну, а куда его развивать? От ржавчины убытки медленно заживают.

Можно собрать пуговицы. Твоямаматруба. Я вдруг представляю, как он прячет трубу аккуратно на место, садится на корточки, чувствуя задом голенища сапог и, щурясь на солнце, пальцами ищет в траве пуговицы. Шесть человек идут прочь. Он один.

— Ни в одном коллективе не было такого, чтобы все тебе были рады, — художник удивленно смотрит на потолок, — наоборот.

Черт его знает, как это получается, — думаю я, и в моем горле встает банальный комок. Остаться одному против всех — в этом есть особая горечь. Хотя, по сути, никто не обещал, что на Земле будет сплошной песок и фантазии, и вечное утро скаута. Но почему каждый раз ты чувствуешь во всем этом предательство? Словно в некоем году, в некоем царстве мы все давали друг другу присягу: братья! Навек. Или я что-то путаю?

— Коллективы выталкивали, — говорит художник, — но при этом почти всегда, хоть и в малом количестве, находились люди, которые видели плюс в том, что я — блин, как это, — не такой как надо.

За стеной, откуда ни возмись, урчит умиротворяющая мелодия «Спокойной ночи». Я не сразу въезжаю в иронию, но потом усмехаюсь.

— Этим редким отдельным людям нравилось, что я не хочу жить в придурковатом режиме, выполнять вместе со всеми всю эту хрень, идиотизм, ну знаешь...

Он порядком смущен. Должно быть, он чувствует, что протест против идиотизма сам по себе тоже идиотизм. Его щеки розовеют. У идиотской борьбы только один исход — ты начал и уже проиграл. Это как бороться с гнездом диких ос — чем быстрее ты машешь руками, тем сильней попадаешь впросак. Уже через пару секунд борьбы с дикими осаами все, что ты видишь перед собой, — черный хаос, который заслоняет пространство. Чем ожесточенней ты отбиваешься, тем больше яду всаживают в тебя случайные жала. Это неуправляемо. Ты даже не успеваешь подумать, какого перца в тебя вцепились, и кто их расшевелил. Ты просто попадаешь в водоворот и уже не плывешь своим курсом, а только держишься на плаву, не соображая, что делать. Отправить мозг в бессознание и сделать послушным, можно гипнозом. А можно — голодом, жесткими тренировками и ущемлением плоти и духа.

Мелодия спокойки гаснет. Мы оба выходим из параллельных мыслей.

— Вот в этом я вижу позитивный момент: люди в армии находят друг друга по каким-то созвучным свойствам, — художник смотрит мимо меня значительно и растерянно, словно открыл замысел божий.

— Вы с Толиком переписывались? — спрашиваю я. Художник не замечает подвоха.

— Нет, пара писем. Нас угнали по разным распределителям. Но то, о чем он писал, было тем же, что у меня. В промежутках у нас образовались новые друзья. У меня — армянин, который тоже ни фиги не хотел маршировать, и посылал всех подальше.

— Прямо так и посылал?

— Даааа, — похоже, он и сам удивляется.

Смотря как посылать... В СА на последнем издыхании десятого класса в меня был влюблен мальчик (девочкам всегда кажется, что в них кто-то влюблен). Наши мамы дружили. Мальчика звали Колобок (не искажая фамилии). Он был старше нас и учился в Душанбе, приезжая домой в выходные. Он был правильный Колобок — большой и такой массивный, что казалось, что в тебя влюблен целый взвод. Всем своим взводом он сочинял дворовые песни и исполнял их густым монотонным голосом, не мигая глядя тебе в глаза и смачно бацая по гитаре. В одну субботу он не приехал домой и не позвонил. В общежитии сказали — уехал еще в пятницу. Его мама по пустякам не расслаблялась, за выходные она сделала генеральную уборку трех комнат, шкафов и балкона, высадила фенхель, пришила все пуговицы, какие были в доме, тройными рядами к пальто, и все время гоняла меня в ларек за сигаретами «Родопи».

Как оказалось через несколько дней, Колобка загребли в ментовку, когда он чапал домой от автобусной остановки. Поскольку он к тому времени был почти взрослым, на него хотели повесить нечто достойное его взводских размеров — шпионаж на заводе. Отстой и бред. В отделении мент вставил ему в рот пистолет. Но Колобок был дворовый певец, с пистолетом между зубов он выговорил: «Пошелна».левой рукой он схватил стул и раздолбасил его о стену. Его продержали в ментовке несколько дней.

Я знаю, что Колобок успел уехать из СА еще до войны. Это хорошо. Это значит, мы еще можем встретиться в этой жизни.

— Ты бы видела того армянина! — вырывает меня из мыслей художник.

У меня достаточно сил терпеть свою память. Значит, чужую, вообще без проблем.

— Он был мелкий, худой и все время кашлял! Как туберкулезник. Но внутри, — художник трясет кулаком, — арматура. Реально, он был готов умереть, ходить под расстрел, только не выполнять приказы. Железяка. И вот с этим арой нас привезли на аэродром...

— Летчик? — я тыкаю в художника пальцем.

— Нет, просто мне дали выбор: остаться после учебки патриотом или распределиться в соцлагерь, за рубеж. Я подумал, что везде все равно одинаково, но из любопытства можно посмотреть другую страну. И я выбрал Чехословакию. Туда нужно было лететь самолетом, и нас привезли на аэродром. На аэродроме были... — он секунду думает, — грустные вещи.

Он произносит выражение «грустные вещи» серьезно, и от потуги не выдать чувства у меня стекленеют глаза.

— Под одним небом аэродрома стекались два ожидания. Те, кто уезжал служить дальше, ждали самолета. Те, кто собирался домой, тоже ждали — дембеля. Их почти отпустили. Такая фигня.

От ожидания худшего у меня екает сердце.

— Дембеля на аэродроме уже завоевали себе блатные права, так что на уровне солдат они могли вытворять все, что угодно. Офицерью на моральный облик отработанной армии было сильно на-ть, а отработанной армии уже настолько не хрена делать, что оставалось только сублимировать энергию напрасно убитых лет на салагах.

«Песок и задницы», — проносится у меня в голове. Вдохновение мщением. Почему-то мне представляются сморщенные дедовские лица из-под заломленных на затылок шапок. Целый ряд — на фотографии первым планом. А за ними — салаги, их щеки розовы и стыдливы.

Как много у человечества поводов для пререканий. Целая планета разных людей...

— А в чем же опять конфликт? — спрашивает художник.

Я пожимаю плечами. Мне даже не любопытно, я выбираю право не знать. Но его нарушают.

— Времени соображать у дембеля нет. Ему скоро домой, а хочется наверстать все, что он потерял за два года. Так что, время дембеля — золотое руно. Оно течет между пальцами и щекочет рецепторы. Минута размышления упущенной драке подобна. Поэтому выбор темы для драки — прерогатива простой традиции. «У тебя есть, а у меня нет» — это вечная, железная схема конфликта. Дембеля просто забирают у салаг все, что попало.

Весело как, — думаю я. Действительно, анализировать каждый свой шаг — это долгий процесс, так никогда ничего не успеешь. Только китайцы настаивали на надеянии. Мы — не китайцы. Неожиданно я вспоминаю недавний Интернет бум. Школьник рассказывал в блоге, как он и его старшие друзьями разводили лоха, забирали у него мобильный. Школьник писал: «Лохам не положено с реальными мобилами ходить. Потому что у реальных пацанов беспантовые трубки, а у лохов реальные»... Я думаю о том, как имущественный мотив и с ним иже религиозный плавно вальсируют по истории, то один ведет, то второй.

— С этим нельзя ничего поделаться, — говорит художник, — этот сценарий заряжен теми, кто организовывает...

Я вызывающе удивляюсь. Мне неприятны политические обобщения. Но я понимаю, что требовать с художника имен, должностей и нашивок, такой жедохлый номер, как спрашивать у соседа, почему в РФе бедлам. Я смущенно чешу нос.

— Попав на аэродром, мы пришли в ужас. Нас начали раздевать, разбужать, отбирать запасы еды, и мы ничего не могли предпринять против этого. Хорошо, что на свете есть земляки. Однокоренные люди любят друг друга. Мой ара побегал и нашел компактное проживание армян. Про меня он сказал — мой брателла. Нас быстро покормили, нашли одеяла, спальные места и сказали на улицу не выходить. Ну и классно! Что я сам себе Мцири? Несколько дней сна в ограниченном пространстве мне было даже ништяк.

Когда в СА началась война, кто-то разобрал железнодорожное полотно, единственный оставшийся способ покинуть замкнутый театр сражений, — говорю я сама себе и пью водички из пластикового стаканчика.

— Может, чайку? — озабоченно спрашивает художник.

— Ммм, — я быстро трясу головой.

Весной 91-го уже никто не сумел уехать.

Первая скинутая с моста машина и жертвы в самом начале военного конфликта случились сразу после моих первых студенческих каникул. Я уже полгода отучилась в России, и на каникулах приезжала в Азию проведать своих. В день, когда я возвращалась с каникул, объявили военное положение. В СА оставались:

Юля (из Волгограда)

Света (хохлушка)

Эдик (кореец)

Цыпа (армянин)

Валера (еврей)

Вася (полутаджик)

Юля (татарка)

Валя (бульбашка)

Рустам (казах)

Альбина (русская)

Виталик (абхазец) — погиб

Саша (русский) — погиб

V

Я люблю готику. Если я еду в метро, то слушаю Лакримузу. 4 песни, больше у меня не записано. Это патология, да?

Говорят, ничего не стоит на месте — либо худо-бедно идет прогресс, либо все рухнет наф. 4 заслужанных трака — может быть, это здоровое стремление к нирване, где все, как известно застыло и ничего не меняется? Иногда мне кажется, что надо только час продержаться, и, когда через пару лет ты находишь себя все там же, возникает довольно обидное чувство. Нирвана — мимо: те же поручни, тот же снег. Утешает только то, что история сделала 4 синапсических оборота вокруг оси. Ось — это я.

Как человек может видеть время? Только по переменам вокруг. Но если стрелки часов вдруг перестают успевать за событиями?.. Раньше группа типа «Кино», к примеру, появлялась раз в столетия, и это было значительным поворотом в общественной жизни. Но вот уже несколько лет, глядя на общественные тенденции, я уговариваю себя только час продержаться и не успеваю даже придерживаться. Очевидные вехи времени исчезают из виду, как остановки метро. От водоворота без остановок у меня возникает синдром непроизвольного придерзания. Я с удивлением наблюдаю, как огромное колесо культуры встает вверх ногами всего за какой-нибудь год. То, что было андеграундом становится массовым шоу, а рок превратился в попсу, не успела наколка расплзтись по телу свободного поколения. Я не могу сказать, что мне не нравится скорость. Просто я оглядываюсь кругом, и все сливается в белый снег. Может быть, это связано с возрастом?

— Равви, белый — это цвет?

— Цвет.

— Ну какой же это цвет, равви! Смотри, здесь же нет цвета!.. А черный — это цвет?

— Цвет.

(сосед) — Ну я же говорю, что продал ему цветной телевизор!

Хомо популяция — от природы веселое существо. Ему хочется развлечений. Сначала веков у нас были забавы: саблезубые тигры, Везувий, холод и голод. Потом — инквизиция, чума и холера. Разбросаны по времени Иван Грозный, Сталин и Чингисхан — эти развлекли человечество надолго. Странно, что с ускорением культурного времени, хотя событий явно прибавилось, нам стало, кажется, досадно скучней. Спасаясь от унылой жизни, солдатики срочной службы по собственной воле вываливаются из окон или, связав шнурки от ботинок, прыгают с табуреток. Школьники, накачанные ритамином, мочат товарищей из пистолета, наверное, тоже от скуки.

Во времена Сумасшедшего Ивана, сумасшествие, возможно, было оправдано: у самого царя не ловил канал СТС. Сегодня каждый может развлекаться, не выходя из гостиной. Вас это развлекает? Мне всегда было интересно, какие наклейки школьники лепят на щеки своих пистолетов.

— Ну и дальше, — подбадриваю я художника. По идее, журналисту главное, чтобы человек продолжал говорить. Даже если слушать уже не хочется. В своих проблемах разберешься потом. Думаете, почему Алисе в стране чудес удавалось перебираться на шахматную клетку дальше? Совсем не потому, что она быстро бежала, а потому что не думала о лисьих хвостах. Чистый разум растворяется в происходящем и только так ему удастся воспарить по над клетками и дойти до вражеской половины доски. Хочешь в дамки? Обрати внимание на фигуры и, как Скарлет О'Хара, скажи себе: «Я подумаю об этом после». Жаль, что у меня это получается не всегда...

— Ну, в общем, перетусовались мы с армянином на военном аэродроме, — голос художника возвращает меня в реальность, — не помню, делал ли я что-то полезное для своего друга

ары, но вот он меня спас. Одинокий командос в части не воин. В одиночку салаге трудно удержать свою корочку хлеба. Салага еще даже не понял, что ему защищать — честь, хлеб или конституцию. Такая путаница ослабляет мотивы борьбы. У стариков, наоборот, все отлажено. У них за плечами сам дух системы. К дембелю у солдата завершается перезагрузка понятий. Мир становится ясен как пень.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.